А. ЗОРИЧ

МИНИСТР ИЗ ГЕДЖАСА

ПРИБОЙ



А. ЗОРИЧ

МИНИСТР ИЗ ГЕДЖАСА

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД



1927

Ленинградский Гублит № 31856 Тираж 6.000—12 Заказ № 410

Министр из Геджаса

В сумерках, когда прогнали уже скот с поля и старуха доила тасканку в хлеву, ребята принесли запечатанный сургучом и прошитый суровою ниткой пакет из волости. Старуха вытерлась о подол, поставила в книге кривой и дрожащий крест и, сказавши испуганно: „Господи, не худое ли что?“, снесла пакет в хату, за образа. К ночи вернулся старик, который в лукошке выносил грибы и падалки на воскресный базар. С любопытством человека, впервые увидевшего в жизни подобную хитрую и великолепную вещь, долго и внимательно разглядывал старик штампы, печати и номера на конверте и даже послюнил осторожно и пососал на языке горьковатый и вяжущий сургуч; но вскрыть пакет было страшно, и, поужинав тюрей со шкварками, он пошел с письмом в сельсовет. В сельсовете вслух зачитали бумагу, которою он, старик, Василий Иустинович Бобров, переселенец с Украины, на двенадцатое сентября по неизвестному и спешному делу вызывался с супругою в ржевский народный суд. Старик был взволнован и терялся в догадках о причине, по которой столь экстренно и внезапно они понадобились с женой уездной службе. Единственная вина, которую он знал за собой, состояла в том, что на воскресных базарах, куда они носили со старухой

грибы в лукошке, всевозможными хитростями он скрывал эти роскошные предметы от бдительных глаз инспектуры, считавшей лукошко бесспорным объектом прямого подоходного обложения; но с преступными сыроежками он был настигнут агентами только раз, и это случилось в Николин день, много месяцев тому назад; было очевидно, что беспатентные грибы прямого отношения к делу не имеют. Старуха, с которой он поделился сомнениями, высказала-было мысль, что в суд на них подала Варка, бобылка, которую бабы миром побили у колодца за то, что она доила по ночам чужих коров; но Бобров заметил строго, что это дело не казенное и бабьей дуростью суд заниматься не станет.

Так или иначе, нужно было собираться. Старуха напекла лепешек из ячменя, свела к соседке корову и поросят, они заколотили избу шелевками и, перед дорогою присев по обычаю у порога, ранней зарею вышли, перекрестясь, во Ржев.

Во Ржеве, когда с бьющимися сердцами подошли они к покрытому красным сукном столу в камере, судья спросил у старика, протянув ему снимок, весь испещренный надписями:

— Известен ли вам этот человек?

Подслеповатыми глазами вгляделся старик в сухое и надменное лицо на портрете. В расшитом и блестящем мундире с орденом Льва и Солнца в петлице, с сигарой в уголке надменных выбритых губ, прилизанный и вылощенный этот человек был похож на картинку, какими облепляла старуха углы и припечек в хате, в изобилии вырезая их из старых лубочных календарей; что-то знакомое мелькнуло как будто и исчезло тотчас же в выражении сощуренных и немножко раскосых глаз. Старик пожевал сморщенными губами и сказал, возвращая снимок:

— Не знаем, чужой человек.

Тогда судья вынул из папки и положил рядом второй портрет. Сходство его с первым было почти очевидно, но человек выглядел здесь молодо и просто в ситцевой косоворотке с цветочками; у него были пухлые губы и торчала из-под картуза задорная прядь волос. Старик выпрямился внезапно и побледнел, старуха же сказала, всхлипнув жалостно и протянув к фотографии сухие, дрожащие руки:

— Ванюша, сынок...

...Пятнадцать лет тому назад, осенью, тот, кто в блестящем мундире был снят теперь со звездою Льва и Солнца в петлице, на заработки уходил из тверской деревеньки в Петербург. Парни проводили его с гармошкой, старуха стояла у околицы, глядя ему вслед, и плакала тихонько, кончиками платка вытирая глаза. От него пришло из Петербурга, с нижайшими поклонами, два письма, третье же и последнее было из армии, из отряда воздушных истребителей, и он подписался: „С почтением подпрапорщик Иоанн Бобров".

Через год, получив белый крестик и вишневый темляк к шашке, он стал поручиком. Преданный престолу и отечеству и высоко чтя обер-офицерское свое звание, в восемнадцатом году штабс-капитан Иван Бобров уехал из демобилизованной армии на Дон, блестяще прошел с Корниловым и Деникиным, получив Станислава на шею, весь предательский поход от Орла до Краснодара; из Крыма, когда пал Перекоп, он уехал в Париж, стал шофером и полтора года стоял на улице Монтань с такси № 382. Потом это ремесло перестало кормить, он варил халву и тянучки в Константинополе, был букмекером на бегах в Варне и, наконец, вернувшись в Париж, поступил кельнером в русский кабак на Монмартре; там подавали водку на березовых почках, и посетители, по русскому обычаю и по цене франк

от штуки, мазали горчицей и соусами покорные лица лакеев. Это было утомительно и по меньшей мере неприятно.

В 1924 году, неизвестно кем информированный, русский штабс-капитан Бобров из Парижа уехал в Аравию и был принят летчиком в армию королевства Геджас, где растут мангусты, бананы и тамаринды, где водятся дикие быки и пантеры, где проходят без дождя целые годы и редкие речушки засыпаются и поглощаются зыбучим, мертвым и раскаленным песком. Он был допущен вскоре ко двору, сошелся, преодолев отвращение, с толстогубой и черной, как вакса, дочерью короля, — женился и стал в Геджасе министром авиации.

Он жил благополучно и управлял пятью самолетами этого государства целый год; потом произошел инцидент, когда, вспылив, он ударил по лицу араба, служившего ему на дому; араб никак не ответил на это, он опустил глаза, выплюнул на ладонь и спрятал на груди окровавленный выбитый зуб и вышел, как всегда, поклонившись у порога и, в знак почтения, приложив, как всегда, руку сначала ко лбу, потом к сердцу; но через шесть дней, ночью, министра нашли убитым на караванной дороге в Тайфу. В груди его оставлен был, как велит это закон о мести, вонзенный по рукоять старинный, с черными инкрустациями, стилет.

Имущество убитого передано было консулу, консул переслал его в Наркоминдел, и оно попало оттуда в ржевский народный суд для введения родных убитого в права наследства. Имущество исчислялось суммою в три тысячи рублей.

...Деньги, которые они получили в городе, старик увязал сначала в онучу, в лапоть; потом, боясь дурных людей, он передал их старухе, и та спрятала пачки на грудь.

Назад, в Лаптево, они шли, как всегда, пешком, палками отбиваясь от бродячих собак в поле; в поле дул ветер, гудела тоскливо проволока на столбах. Странным образом они ощутили вдруг оба, что деньги, полученные из Геджаса, не только не радуют, но скорее угнетают их. Старик, развивавший вначале хозяйственные планы о покупке волов и фуры и мельницы на ставке, говорил как-то нехотя и вяло, точно бы по обязанности, а вскоре совсем умолк, насупясь тяжело и неподвижным взглядом упершись в землю; с каждой минутой все явственнее чувствовали они необъяснимую какую-то и давящую тяжесть на душе.

Старуха вспомнила, как на этой же дороге в овсах целыми днями сторожила она, бывало, почтовую пару из города, и пара катила без письма, мимо, обдавая грязью заплаканное ее и измученное лицо. Она вспомнила, как снесла в церковь за упокой пропавшего сыночка последний, жалкий грош, а солдат с фронта со злостью рассказывал на селе, что Ванька стал господином, оделся в китель, бьет народ по зубам и катает девочек на казенной машине; она вспомнила год, в который они жевали мякину и корешки грибов, жуткий, пустивший деревню по миру, незабываемый голодный год; она вспомнила дочку, которая вышла за полтавца в родные места и которой казаки отрезали груди, когда махновцы делали под Полтавой кровавый рейд. Годы, которые они прожили со стариком одиноко, в нищете и унижениях, внезапно встали и прошли сейчас перед ней, и она ужаснулась поступкам и жизни сына, бросившего мать и предавшего свой народ и деревню, из которой он вышел на божий свет; нестерпимая боль сжала ее сердце, и она заплакала, сев у дороги на бугре; деньги, которые лежали за пазухой, жгли ей грудь. Старик помолчал, стоя над ней и понимая, видимо,

чувства, которые ее томили. Бурые пятна выступили внезапно на его лице.

— Не плачь! — сказал он глухо: — я однесу их у Ржев, будь вони прокляты, чужие гроши и той сухменный Еджас!

И поднятым кулаком он погрозил в сторону, где лежал, как ему казалось, за межой и перелеском, далекий и ненавистный Геджас, в сухих песках которого растут тростник, бананы и тамаринды.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Медаль

В Жигулях, перед Самарой, на повороте у маленькой пристаньки ниже Ставрополя, стремительно бежавшей кормой пароход смял и перевернул рыбачью душегубку с детьми, вертевшуюся у дебаркадера на волнах.

С парохода и с дебаркадера видели, что двое ребят, вынырнув пониже кормы, набирая воздух разинутыми ртами и наотмашь загребая руками, поплыли и выплыли благополучно на буксирную баржу у пристани. Третьему, который барахтался беспомощно, захлебываясь и крича испуганно в пенившейся от винта воде, с парохода бросили пробковый круг; он нацепил-было пробки себе под мышки, но круг, как это часто бывает, слез ему на ноги, он перевернулся в воде вниз головою, и течением его занесло под пристань. Бледные, взволнованные люди на пристани торопливо садились с шестами в баркас; но было очевидно, что шестами невозможно в ту короткую и единственную минуту, которая отделяла мальчика от гибели, разыскать и извлечь его из-под пристани.

Тогда с парохода, с мостика, с трехсаженной высоты, перекрестившись размашисто и на лету со свистом вбирая полной грудью разрезаемый воздух, кинулся в воду лоцман Аким Жук. Старый волгарь,

рожденный, выросший и состарившийся на воде, он плавал как пробка, несмотря на свои 53 года; он легко и без передышки в оба конца переплывал половодную весеннюю реку, искусно ловил в воде брошенные сверху монеты и нырял, побивая российские рекорды, на 8 саженей по течению. И для него не составило особого труда и даже беспокойства на три минуты уйти с разгона в воду, под темные и скользкие, поросшие мхами, ветхие своды пристани; долгая и трудная волжская рыбачья жизнь воспитала в нем, кроме того, хорошее и крепкое чувство долга перед каждым, кого постигало несчастье на воде. Работая уверенно всем напрягшимся телом, цепляясь за обшивку и балки, он залез под пристань и сейчас же увидал болтавшиеся беспомощно ноги застрявшего в скрепах мальчика; он потянул за собой бесчувственное уже тело, и через минуту оба они показались на поверхности. Их подобрал и передал на пристань баркас.

Пароход отошел в Самару, и в Самаре, куда уже было сообщено о происшествии, едва только спустили трап, лоцмана пригласил к себе представитель Общества спасания на водах. Представитель Общества спасания на водах, молодой человек в кремовых брючках с обшлагом, приветствуя и поздравляя матроса, долго и значительно тряс его руку. Воодушевившись моментом и плененный, видимо, изяществом собственной речи, молодой человек произнес, совершенно некстати упомянув о севастопольской обороне и народной песне „Варяг“, весьма обширную тираду о пользе отечественных водных путей и высокой миссии того Общества, которого он является почетным членом; затем молодой человек сказал напыщенно, что Республика ценит отважных людей и что лоцману будет выдана поэтому за спасение погибавшего серебряная медаль на розовой ленте, — пока

же просил дать канцелярии некоторые необходимые сведения.

В канцелярии Аким Жук впервые изложил тот рассказ о происшествии, который в дальнейшем так часто пришлось ему воспроизводить и который он начинал неизменно описанием некоего стороннего обстоятельства: „... А я вижу, на нефтянке сидит какой-то с удочкой, удит и ноги свесил; мы их не уважаем, удильщиков: с одного конца червяк, с другого — дурак!“.

В канцелярии отпустили его, записав эти показания, место службы, жительства, возраст и семейное положение, и он отправился-было уже на пароход, чтобы попить чайку на стоянке, но по дороге его перехватил агент ГПУ. Агента ГПУ, помимо рассказа о самом происшествии, который терпеливо был изложен лоцманом в прежних, весьма живописных деталях, интересовали почему-то подробности жизни и деятельности самого спасителя: где и как и когда именно появился он на свет, какое получил воспитание и образование, чем занимался до Февральской революции „и после таковой до Октябрьской и после таковой по настоящий день“; состоит ли в какой партии и, если нет, то почему именно; владеет ли каким имуществом сам или родители, как относится к воинской повинности и по какому разряду единой тарифной сетки получает содержание. Агент был, кроме того, педант и ревностный служака; он не удовлетворялся обычными общими ответами, но входил в мельчайшие подробности и в подтверждение показаний требовал поминутно то те, то другие документы. Заполнив в протоколе 34 графы, агент к третьему гудку отпустил, наконец, лоцмана на пароход.

В Астрахани его вызвали в суднадзор. Суднадзор интересовали преимущественно обстоятельства

характера технического — о скорости хода на повороте и о сигнальных гудках. Но, вместе с тем, представителям суднадзора хотелось из первых уст услышать и о самом происшествии тож. Аким Жук повторил поэтому в третий раз свой рассказ о нефтянке, о дураке, о червяке и о тонувшем мальчике. Здесь опять составили протокол и опять спрашивали о родителях, об имущественном положении, о возрасте, стаже и политических воззрениях, — и тоже сказали про медаль.

В обратный рейс на пароход сел ревизор движения; оказалось, что дело касается и его, потому что он, вооружившись бланками и самопишущей ручкой „Монблан", явился немедленно в рубку и просил сызнова и подробно изложить обстоятельства дела.

В Саратове лоцмана всю стоянку продержал в конторе инспектор участка; инспектор участка кусал пальцы с досады, что, не опросивши, пропустил старика в первый рейс и настойчивостью и чрезвычайной многочисленностью вопросов хотел теперь загладить этот обидный недосмотр.

Снова и снова Аким Жук повторил свой несложный и отлившийся уже в прочный стереотип рассказ: „... А я вижу, на нефтянке сидит какой-то с удочкой, удит; мы их не уважаем..." и т. д. Самый рассказ надоел ему до чрезвычайности и даже опротивел: он никак не мог понять, зачем это нужно, чтобы десятки людей в десятках одинаковых протоколов и анкет записывали одни и те же слова, переводя понапрасну время и бумагу; ему повсюду жали руку и говорили о награде и о медали, лишая его покачто отдыха и заработка, ибо он не мог уже, как раньше, в артели грузить на стоянках груз.

Он чувствовал, что это утомляет и раздражает его, и начинал уже сожалеть о великолепном прыжке с мостика.

В Самаре его опять позвали на пристань. Агент ГПУ позабыл освидетельствовать его учетную воинскую карточку, а представитель Общества спасания на водах желал узнать, с какого времени он состоит в профсоюзе и не является ли спасенный родственником или близким ему лицом.

Затем различные должностные лица говорили с ним по этому делу в Ставрополе, в Симбирске, в Казани и Чебоксарах. Каждого из них интересовали какие-нибудь частные, но совершенно необходимые им для служебной переписки детали; все они проявляли к старику полное расположение и были сконфужены и несколько разочарованы сухой лаконичностью его ответов.

Когда пришли в Нижний, артель произвела коекакие подсчеты, и выяснилось, что за этот рейс Аким Жук потерял две трети своего обычного месячного заработка. Он только-что нацепил козелки на плечи, чтобы идти в пакгауз для погрузки, когда по телефону его снова вызвали в правление. В правлении он прождал два с половиной часа и, войдя к концу занятий в начальнический кабинет и узнавши, что говорить с ним хотят все по тому же делу „о спасении юноши под пристанью в местечке Екатериновке и о награждении спасителя медалью на розовой ленте“, поклонившись, умоляюще сказал:

— Не матузьте, пустите вы меня на покаяние. Другой раз не прыгну, вот те Христос!

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Болото

Было бы — говорят — болото, а черти найдутся. На болоте у Загатья, близ Орши, самым главным чортом был в свое время уездный агроном, по фамилии Выдра, Иван Алексеевич.

Болото у Загатья было топкое, зловонное, в зыби и в кочках, проваливавшихся под ногой, и оно тянулось на два десятка верст. В этой зловонной топи исчезали безвестно и трагически каждую весну десятки людей и гиб десятками в муках, разоряя нищие крестьянские хозяйства, отбившийся скот, который гоняли с округи в соседние луга и толоки. Оно было усеяно костями, оно залито было слезами и проклято многими страшными проклятьями — это жуткое бугское болото в Загатьи!

Не раз собирались в Загатьи окружные деревеньки, писали приговоры об осушке, и ходоки с приговорами меряли не раз бесконечные версты по большаку в Оршу, в уезд и в губернию.

Неисповедимы были в то время служебные пути: получалось так, что, куда бы ни обращались по этому болотному делу мужики, оно попадало неизменно на заключение агронома Ивана Алексеевича Выдры. Бывали в Орше, бывали в Могилеве, ломали шапки, кланялись униженно в исправничьей

канцелярии, однажды шесть суток ждали голодные, в мороз, на черном крыльце у предводителя, доходили до губернатора и были приняты даже и выслушаны секретарем дамского благотворительного общества, патроном которого состояла особа царствовавшей фамилии. Секретаря этой дамы звали Серафимчик, и он через лакея передал мужикам, ожидавшим на кухне, что осушка болот не имеет отношения к высоким мероприятиям по насаждению христианских идей в народе.

И отсюда, как и от предводителя, от исправника, от губернатора и из многих других мест, — дело опять перешло к агроному Ивану Алексеевичу Выдре.

Выдра носил когда-то нигилистическую косоворотку и писал в местных изданиях стихи, рифмуя „свобода“ и „народа“, отчего считался в уезде либералом; но вода, как известно, даже камень долбит, и с течением времени он обрел, видимо, счастливые возможности сочетать чистоту социалистических убеждений с чином коллежского асессора, с наградными к Пасхе и с сугубой жизненной прозой вообще.

Выдра говорил мужикам неизменно, в двадцатый раз принимая и перечитывая знакомый приговор:

— Данных мало, добавить нужно...

Мужики, добавляя, из деревенек носили ему на дом собранные по хатам холсты, яйца и птицу. Но Выдра, возвращая яйца, сердито кричал:

— Вы копеек мне не носите, копейками не отобьетесь! Я за это дело меньше тысячи не возьму!

От крика он делался красен, задыхался, и апоплектическая шея его наливалась кровью. Мужики испуганно жались к дверям, кланялись просительно — „явите народу снисхождение“...

Но Выдра снисхождения не явил, деревеньки же эти слыли нищими, и собрать здесь нужную тысячу рублей было до очевидности невозможно.

Проходили годы, и попрежнему стояло у Загатья проклятое бугское болото, страшное кладбище крестьянского скота и сотен похороненных под кочками, без вести пропавших людей.

... Год тому назад из уезда, из укома, в труской двухколесной „беде“, на мохнатой лошаденке приехал в Загатье неизвестный человек, докладчик, как называли его мужики. Был он сдержан и даже суховат как будто, этот заикающийся уездный человек, в вылезшей от многих дождей, потертой и старенькой жеребковой куртке; но говорил он особенно как-то душевно и просто, на завалинке у пожарной бочки расспрашивал стариков про тяжкую и серую деревенскую жизнь. От Адама, во всех возможных подробностях, старики рассказали ему историю ненавистного болота, и неизвестный человек, заикаясь, сказал:

— Б-болото мы высушим. Владимир Ильич Ленин говорил, что в советской стране не м-может быть никаких б-болот, но на каждом б-болоте будет п-плантация или огород...

Он улыбнулся вдруг, эта улыбка осветила неожиданно и сделала ласковым его усталое и серое с опущенными углами рта лицо; и была такая искренность и уверенность, такая внутренняя серьезность и значительность в простых этих словах, что старики на завалинке заулыбались внезапно тоже и важно и понятливо стали кивать бородами, с достоинством давая понять, что им давно и прекрасно известно, чтó именно сказал Владимир Ильич Ленин по поводу осушки российских болот...

Товарищ из укома уехал, — он сидел в таратайке сгорбившись и прыгал на ухабах, как мячик, тру-

кая беспомощно и неумело отваливаясь на вожжах. Со смешанным чувством надежды и сомнения смотрела деревня вслед потертой его жеребковой курточке: мал, мал человек для этого отчаянного дела!..

В деревне не знали еще тогда и не понимали, что маленький этот и душевный человек был из укома, что был он только единицей, неприметной песчинкой того огромнейшего железного коллектива, который стал хозяином жизни в стране...

Неизвестно пока, ценою какого хозяйственного напряжения, ценою какой невероятной перекройки тощего уездного бюджета было это достигнуто, но через два месяца с большака, с шоссе свернули в Загатье первые подводы с людьми, одетыми в брезент, и с дренажными инструментами из города. В деревне их встретили с цветами, с хлебом и солью, в полотенцах лежавшими на огромных и круглых деревянных блюдах...

Я получил от крестьянина из Загатья письмо. Привожу из него всего несколько строк:

„... Вам пишут ходоки от общества нашей деревни Загатье, каковые ходили к губернатору в доказательство от населения, что крестьянам назначена на этом болоте смерть. То губернатор сказал: «свет на волю создан, хотя живите, хотя помирайте», а также мы не слышали другого слова за многие двадцать один год.

„И в настоящее время, как сказал товарищ Ленин, в нашем смертном болоте засушено восемь верст, где граждане сеют уже различные посевы, но местная власть, с достоинством героев, продолжает осушать в дальнейшем до конца, о чем шлем настоящее приветствие и полную благодарность от граждан села Загатья, Оршанского округа...“.

Здесь можно поставить точку. Человек в жеребковой куртке — он обладал „достоинством героя“ и это был представитель класса, который винтовкой завоевал власть и молотом, серпом и дренажной лопатой укрепляет историческое свое право на эту власть — вернул к жизни оршанскую деревеньку Загатье.

Бессознательный день

Караулов, Иван Тимофеевич, когда голосовали в цехе кандидатуры ленинских новобранцев, и новобранцев сверлили, казалось, насквозь сотни внимательных и пытливых строгих глаз и перекрестным огнем вопросов раскрывали перед цехом новобранские смятенные души, — Караулов выступил двадцать восьмым, кажется, и сказал, от волнения странно обрывая, обрубая на запятых фразы:

— Сжала мое сердце смерть Владимира Ильича. Совесть моя спросила: где ты? и что ты? Если бы, например, я плотник... И плотничает весь народ — выстроили дом, которого не видали люди, но не возведя крыши. И возможно ли, бросив топоры, гвозди в губах жевать, в небо глазеть, — оттуда крыша не спустится...

— Крыша с неба не спустится, — говорил Караулов, — и неоткуда и не от кого ее ждать: только рабочая рука может увенчать здание. Без крыши в доме этом российском, в революционном доме — его заложил Ленин, его возводила партия, пролетариат, страна — жить невозможно: товарищи, наводите стропила, кладите венцы! И тот не рабочий и не революционер, кто не возьмется в такие дни за рубанок; чужой человек тот, кто снизу будет глядеть равнодушно, как заметает снегами и дождями недо-

конченный дом, как замирает дело, не завершенное Лениным.

И были, очевидно, понятны его сравнения, взволнованные его слова и чувства, и мысли близки были, видимо, всем, — в цехе вырос лес голосующих рук, и секретарь, кивая удовлетворенно взлохмаченной головой с черным, славным клоком торчащих непокорных волос, положил карауловское заявление в папочку с надписью: „утвержд".

Тогда Караулов, Иван Тимофеевич, вздохнув глубоко и проведя рукой по лбу, по глазам, отстраняя как будто что-то стоящее перед ним, перед его глазами, сказал:

— Но я, товарищи, душевно вам объясню: был у меня бессознательный день, и перед покойным Владимир Ильичем я имею провинность, большой грех...

И он рассказал о грехе своем, о провинности перед человеком, смерть которого сжала теперь его, Караулова, дрогнувшее сердце.

Девятнадцатый год многим памятен был Караулову и особенно памятен тем, что в чесотке, в грязи, в ужасающей нищете, царившей тогда в хибарке его за заставой, в этом году умер у него сын, сынишка, глазами и подбородком похожий на отца. Сынишка, похожий на отца глазами и подбородком, умер на заставе оттого, что домик, хибарка за заставой стояла холодной все зимние месяцы; огромную и прожорливую русскую печь в хибарке топили только изредка драгоценными ворованными щепками, драгоценным заборчиком с огорода — и дыхание вырывалось в хибарке струями горячего пара, в хибарке подмерзала в ведрах вода, стекали с окон стынувшие ручейки, сырели, леденели углы, и под кроватями пластами лежал снег, иней; нельзя было понять, откуда он набивается. Сынишка Караулова

умер потому, что с осени не видали и не едали в этом домике за заставой другой пищи, кроме мелкой, лежалой и пахнувшей скверно пайковой рыбешки, кроме мерзлого, горьковатого гороха и безвкусного отвара заплесневелой картофельной шелухи. Сын умер от холода, от истощения и оттого, что перегорело, отравлено было дурной и тяжелой пищей молоко кормившей тогда матери.

Караулов, Иван Тимофеевич, сутки сидел тогда над сыном недвижно и молча — он не плакал и не произнес за эти сутки ни слова; потом сына свезли в пайковых салазках на кладбище, похоронили; на второй день Караулов пошел на завод, и в этот день на завод приехал Владимир Ильич Ленин.

Он был в поношенном черном пиджачке, в желтой кепке из морской травы, прошел прямо в цеха, в гущу собравшихся людей, — и никто почти не узнал мирового вождя и председателя Совнаркома в скромном и простом этом человеке. Он разговаривал с рабочими, и, так как времена эти были голодные и тяжелые, так как на заводе не платили жалованья и завод работал на одну десятую нормальной нагрузки, так как люди расходились с завода с зажигалками по деревням и в пресытившихся уже деревнях выменивали зажигалки на скудные фунты гнилого картофеля, так как многие не понимали еще истинного смысла, истинных размеров истинного героизма событий, — люди говорили раздраженно, ругали и зажигалки, и пайки, и деревню, и власть, и самого Ленина. Ленин слушал внимательно, отвечал спокойно, часто щурясь и проводя рукой по голове.

Потом, когда слово было дано председателю Совнаркома и председателем Совнаркома, взошедшим на трибуну, оказался этот самый простой человек в желтой кепке из морской травы,—многие ахнули

из ругавшихся и спорivших, и у многих забились учащенно сердца.

Но Караулов, Иван Тимофеевич — это был его бессознательный день — едва сказал Ленин первое слово, закричал из угла, где валялись в бездействии груды ржавевших гвоздильных станков:

— Будет воду лить! Еле ноги таскаем! Дети мрут!

Его поддержали кое-где, вокруг начали шикать и шуметь. Владимир Ильич остановился на мгновение, сощурился опять, опять провел рукой по голове. Он сказал:

— Товарищи, я ведь приехал побеседовать с вами. Вы многое уже сказали мне, послушайте теперь, что я скажу вам...

И так просто и душевно говорил он, такая огромная сила, такая непоколебимая уверенность в людях, которым он говорил, была в его словах, что шум стихал постепенно, стих совсем, и в застывшем, напряженном безмолвии явственно стало слышно, как, взлетая под куполами, хлопают крыльями пятнистые заводские голуби.

Но Караулов, — это был его бессознательный день, — все время вскрикивал из угла, где лежали в бездействии гвоздильные станки, прерывая изумительную эту, волнующую речь:

— Ноги пухнут! Дети мрут!

Когда председатель Совнаркома кончил речь и ответил на многие заданные вопросы, он быстро спустился с трибуны, прошел прямо в тот угол, где сидел на гвоздильных станках Караулов, и сказал, тронув его за рукав:

— Товарищ, пойдемте со мной.

Иван Тимофеевич поправил решительно шапчонку на голове и ответил:

— Что ж, арестовывайте.

Они вышли из цеха, и все видели, как председатель Совнаркома и слесарь Караулов, Иван Тимофеевич, на заводе имевший личный знак № 894, пошли тихонько по шпалам заводской узкоколейки и зашли далеко и скрылись за кранами, за прокатками, за грудами сваленного железного лома. Неизвестно, о чем говорили они там: никому и никогда Караулов не поведал о словах, сказанных ему великим учителем и дорогим человеком в этот памятный день.

Но Караулов, Иван Тимофеевич, когда проходил с завода через контрольную фортку, улыбался светло, в улыбке разглаживалась суровая прямая морщина у переносья, и в глазах карауловских был влажный и мягкий блеск...

Слесарь Караулов в партию не вступил в девятнадцатом году потому, что был малограмотен, с трудом складывал фразы из детских кубиков и понимал и считал он так, что партии ненужны малограмотные люди. Но он сделал большее, что мог: взял винтовку, пошел на фронты и, раненый тяжело, не хотел с фронтов уезжать, — его эвакуировали насильно. Он сделал большее, что мог: стал учиться читать, когда вернулся с фронтов. И в грамоте, с величайшим трудом, с величайшим усилием и напряжением одолевая страницу за страницей, книжку за книжкой, он умом познал то, что познал и почувствовал уже сердцем, когда видел кровь, залившую Перекоп. Он познал и почувствовал еще раз великую правду, о которой говорил ему в тот день на заводе Ленин, человек в желтой кепке из морской травы.

И тогда только, когда он до конца понял и почувствовал до конца эту правду, — тогда, когда

умер человек, впервые в незабываемых словах открывший для него эту правду, и понадобились многие тысячи новых и лучших бойцов, чтобы завершить незавершенное дело этого умершего дорогого человека, — только теперь, через четыре года, с мучительной краской стыда и волнения за тот бессознательный день, постучался Караулов в партийную дверь.

...Снова голосовали. Слесарь Караулов, Иван Тимофеевич, принят был единогласно.

■ ■ ■ ■ ■

Мостик

На бревнах, у старой и ссохшейся пожарной бочки, курили на солнышке мужики. Мы спросили дорогу на агро-пункт, и все четверо ответили согласно и одновременно:

— По хохлам пошел, по муравке!..

Финоген, исполкомовский кучер, вообще говоря человек тихий и без претензий, когда влезает на козлы, сидит на козлах величественно и неподвижно, как балерина в „Умирающем лебеде“, простерши вперед длани, и преисполнен подавляющего презрения и равнодушия ко всему, что не имеет прямого отношения к запряжке. Он говорит, перебирая вожжи в руках:

— До чего же народ этот несурьезный! Они все одно как в Ледовитом океане живут, в так называемой тьме.

Одноглазый и веселый мужичонка в веревочных туфлях сказал:

— Зачем в окияне? Мы землей живем, мы с земли преподаваем жизнь. А вы чьи же будете?

Кучер фыркает убийственно-иронически:

— Божьи. А ты, небось, Чурка, Иван Петров?

— Ага, именно: Сергей Леонов Журба.

Подумав, он добавляет, поясняюще:

— Чурки у нас в Старом Городище существуют, а это Городища новая, здесь Журбы — и до того их множество: прямо-таки, без одного мельон!

Мужики смеются, скаля крепкие белые зубы. С высоты козел Финоген смотрит на них величественно и строго:

— Да вы воду тут не капайте... Кудою на пункт ехать?

И опять все четверо отвечают согласно и сразу:

— По хохлам пошел, муравою!

Финоген молчит долго, плюет и кнутовищем сбивает пыль с сапог:

— Что же, — спрашивает он наконец, — что же, хохлы эти у вас меченые, что ли? У них на лбу лысина, или как? Кака-така мурава? Что ты слепых у столба водишь? Ты по-простому скажи, сурьезно.

Мужик в городской кофте, подкладкой наверх, закричал оглушительно, так что лошади дернули вбок:

— Да ты прямо пошел, по ракиткам, и будет тебе ямка... Она не то, чтобы ямка, ну, вообще овраг, и аккурат за ямкой крыша под рафинадом, по-деревенски — черепица, Яков Цвир проживает. Это у нас первый пролетарист, слышали, может?

— Как не слышать! — фыркает Финоген: — Об нем вся Рассея знает.

— Дак Цвиров два! — кричит мужик. — Ты того не спрашивай, который с вина сгорел, а спроси у кого кобыла жеребая, и прямо-таки от него дорожка пойдет, вавилоном таким, то есть загзазом, до самого казенного моста: одних шесть верст, шестерик...

Веселый мужичонка, вмешавшись, сказал, что, во-первых, Цвирова кобыла ожеребилась уже, во-вторых же — сворачивать надо не за Цвиром, а за Журбою Петром, которого племенник на лисапете ездит, и что, наконец, хотя версты наши немеряные,

шестерика отродясь тут не было. А сколько же? Он думает долго, из-под ладони смотрит почему-то на солнце, на дорогу и снова на солнце, говорит твердо:

— Всех четыре версты, хотя у попа спросите.

Мужик в кофте закричал сердито, что версты смеряны технологом, что он самолично возил на мельницу хоботья и эта путь ему известна, как собственная печка.

— Грешишь, грешишь, старый! — сказал веселый мужичонка и притопнул туфлей. — Ты на каку мельницу ездил? Ты на казенную ездил, а эта Ивана Супака мельница; да прямо-таки сказать, я оттудова родом!..

— Граждане, — говорит Финоген, — чудаки же вы, если с вами разговаривают. Ты осмысленно скажи, где завернуть?

Они стихают сразу, показывают согласно, что завернуть можно и за Цвиром и за Журбою Петром, но проехать обязательно по казенному мосту, и просят закурить.

По хохлам, по ракиткам, муравою, едем мы вавилонами и загзазами, и, когда доезжаем до казенного моста, оказывается неожиданно, что мост этот сгнил, сломан и для проезда закрыт еще весною, пять месяцев тому назад...

Мужички у бочки встречают нас радостно, улыбаясь и кивая, как старым давнишним знакомым.

— Де-ре-вня! — укоризненно говорит Финоген. — Серость!

— Например? — спрашивает веселый мужичок.

— Да мост-то сгнил?!

— Это верно, — соглашается он. — Как не сгнить, сгнил. Он еще на Евстафия, как бы сказать, зачкнулся.

— По этому мосту, — говорит мужик в кофте, — к примеру, и куренок не перейдет. Он до сева еще

завалился; аккурат береза цвела, стояны такие поставили...

Веселый мужичонка возразил, что стояны были, пожалуй, хороши, дубовые были стояны, с Марьина верха, что завалила мост анжинерская машина, и не тогда, когда береза цвела, но на правую середу, в первый дождичек.

— Буравишь ты все! — сердито закричал мужик в кофте. — Машина кругом ездила, Серегиным логом...

— Ну-те, ну-те, как же она ездила, когда затопленный был лог? Там же ути плавали!..

Мы тронулись, мужик в кофте кричал, что этим годом лог сухой был, как портянка в раззуве, а утей по деревне и вообще нету; четверку держала Сергеева старуха, да и тех извела лопушница...

Топоча туфлями, веселый мужичок сорвал с головы шапку, ожесточенно ударил ею о-земь и сучковатой палкой быстро стал чертить что-то на земле.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Товарищ из центра

Имя этого человека, как вождя революционного пролетариата, известно всем, кроме отставных заштатных экзекуторов, не переносящих современной прессы по причине беспокойного тона, но предпочитающих преимущественно чтение „Русского Паломника“ отца Иоанна Кронштадтского за 1884 год. Он является одним из руководителей мирового рабочего движения, и в книге о днях, которые потрясли мир, о нем сказано, что у него прекрасное лицо и глаза фанатика.

Товарищу, во времена, когда спор между вошью и социализмом собственно был уже разрешен в пользу последнего, но составы ходили еще теплушечные и имели в хвостах делегатские, штабные и особого назначения вагоны (не так давно это было, и мало что изменилось с тех пор в пошехоньях),—товарищу пришлось по одному делу побывать в городке, недалеком от Москвы и прославленном в России изобилием несравненных сереброголосых соловьев.

Городок, впрочем, известен еще и тем, что некогда путешествующим англичанином он отмечен был в газетных письмах и дневниках как крупнейший центр русского кожевенного производства. Англичанин, увязив возок, восемнадцать часов просидел

в невылазной грязище перед каменной лавкой, где торгуют гужами, сбруей и хомутами; англичанин дремал, и в дреме гужи и хомуты с расписными ушками противоестественно помножились в английских глазах.

Телеграмма о приезде товарища из центра получена была в городишке накануне и сразу всколыхнула мирное уездное житие, так как решено было перед столицею не ударить лицом в грязь.

На центральную лужу перед гужевой лавкой, не поддающуюся, вообще говоря, никакой мелиорации, наведены были понтоны, лужа устлана была многими днищами старых цементных бочек и стала относительно проходимой.

Пине Клейнерману, владельцу единственной в городе столовой, на дверях и окнах которой висели рукописные таблички „кошер“, категорически было предложено готовить на ближайшие дни вполне трефную телятину с луком, и Пиня, ужасаясь собственным поступкам, снял с окошек таблички и осквернил кухню двумя клеймеными тушами, в вечерней молитве предусмотрительно отведя, однако, грех на голову старшего уездного милиционера.

Из гостиницы, имевшей на фасаде странную, непричастную к делу вывеску — „Лесной склад, рыба-соль“ — и располагавшей всего двумя жилыми номерами, выселен был срочно заезжий, всемирно известный по силе и непобедимый в борьбе с медведями чемпион Корень, а номерной получил боевое задание в двадцать четыре часа извести клопов и прусаков, в изобилии находившихся в гостинице „Рыба-соль“ под драными и линялыми обоями. Конечно, легко сказать! Конечно, номерной, получив на сей предмет из хозчасти уика двенадцать фунтов керосина, в поте лица своего проработал на кровавом поприще

до вторых петухов, жег, травил и давил клопов подсвечником, пестиком и ногами, но проклятые насекомые переползали с места на место, прятались в глубоких щелях и под утро, разъяренные, устроили дикую вакханалию, стаей накинувшись на заснувшего истребителя.

Исполкомскому кучеру, мрачнейшему пессимисту, утверждавшему, что лошади пьяного его не уважают, и крайне редко поэтому появлявшемуся на козлах, призаняли у местного дьячка рясу. Рясу стянули в талии, обшили борты гарусом, прицепили на спине красные помпоны, и получился несколько экзальтированный, но приличествующий все же случаю ямской кафтан „а-ля-рюсс“.

Товарища из центра выехали на вокзал встречать представители всех ведомств, во главе с предуиком Афанасием Ильичем. Когда, громыхая, подошел поезд, представители ведомств толпой осадили единственный классный вагон у паровоза; вагон был, однако, заперт; в вагоне мелькал дамский чепчик, а на площадке, привязанная к тормозу, стояла понуро безрогая коза. Представители ведомств стояли растерянно, уставившись в зеркальные вагонные окна, и никто не заметил, как человек в худом пальтишке, в сапогах, не доходящих до колен, выпрыгнул из теплушки, боковой калиткой прошел с платформы, сел и уехал в город на крестьянской труской телеге, на лошаденке, являвшей дикую российскую помесь верблюда с овцой.

Мужик, который вез его, рассказывал впоследствии, что человек оказался пролетаристом, — „а думали, весь он чисто в пуговках будет“, — и разговаривал по-простому и многим интересовался по хозяйству. Он, мужик, высказав несколько общих мыслей по поводу того, что „сила наша грязная, работает, покель споткнется, а такциев труду кре-

стьянскому нету“, рассказал, в частности, о собственной пегой кобыленке, которая сохнет с вороньего глаза, о том, что казенный фельдшер за лечение скотины требует самогон, по ведру с головы, — и человек, товарищ, пролетарист, обещался вставить фельдшеру колокольчик в дугу.

Представители ведомств и предуик Афанасий Ильич, проторчав на вокзале, пока чистили в паровозе дымоход, полтора часа — на казенных пáрах, мрачные и молчаливые, вернулись в городок.

Исполкомский сторож Ефим — Евхим тож — встретив у входа грозного, как туча, Афанасия Ильича, сказал:

— Там пришел, сидит какой-то с папкой.

— Ну, и чорт с ним!—раздраженно сказал предуик.

В сопровождении представителей ведомств предуик прошел в комнату, где за столиком, спиной к двери, сидел, развернув газету, приехавший человек, и сказал, в сердцах ударив по столику кулаком:

— Надул, чорт бы его драл! Сколько кутерьмы подняли...

Человек, сидевший за столиком, повернулся и сказал, усмехаясь:

— Здравствуйте, товарищи!

Он посмотрел затем на перекосившееся внезапно и ставшее багровым предуиково лицо и, подавляя улыбку, вышел поспешно в соседнюю комнату. Минуту стояло тяжелое молчание.

— Зарезали! — хрипло сказал, наконец, предуик представителям ведомств. — Раззявы! Осрамили...

Товарищ из центра пробыл в городе всего день, избежав ночных кошмаров гостиницы „Рыба-соль“ и не отведав трефной телятины кухни Пини Клейнермана, но закусив в укоме колбасой с булкой.

Под вечер ему подали тройку. Товарищ из центра отказался от тройки, засмеялся весело, увидев

красные помпоны на кучерской рясе, просил не беспокоиться провожать его и уехал один, снова взяв очередной мужичий воз. Из окон исполкома представители ведомств долго смотрели, как он подпрыгивал на ухабах в труском возке.

Предуик в глубоком раздумьи сказал:

— На тележке ездит, странно... А спрашивал ли кто-нибудь у него документы?..

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Мост горит!

Люди, которые не знают законов, движущих историю, говорят, что варфоломеевская ночь явилась следствием расстройства желудка у Карла IX, а Наполеон проиграл бородинское сражение потому, что болел в этот день насморком, от которого он приходил неизменно в состояние крайней душевной подавленности. Спасителем России явился, таким образом, камердинер, накануне забывший подать императору непромокаемые сапоги.

Ежели рассуждать таким образом, то мост у Верчунки и городишка Озырь были взяты белыми единственно потому, что полковник Бугач, первопоходник и командир трех сводных чортовых сотен, выезжая из Озыря, позабыл в номерах „Флорида" лядунку и кисет, родовые награды прапрадедов за успешный, как значилось на лядунке, особливый деташемент в Померании к покорному городу Кольбергу. Якобы, обнаружив потерю, полковник заскучал, трое суток питался исключительно коньяком „Депре" и сухими лимонными корками, на четвертые же созвал всех взводных и вахмистров из сотен и сказал в отчаянии, волосатым кулаком ударив себя в грудь:

— Орлы! Возьмите мне этот проклятый город, и на четыре дня и на четыре ночи я отдаю его вам, на волю вашу и господ офицеров!

И город был взят. Оттиснутые за Верчунку, за мост, в болото, отрезанные от дивизии — мы видели ночью зловещее кровавое зарево над ложбиной; мы слушали, стиснув зубы, гул и вой, которые неслись оттуда, и дикие смертельные крики людей, сухой треск винтовочных выстрелов и короткие разрывы гранат. Может-быть, там расстреливали и жгли в паровозных топках захваченных товарищей? Может-быть, там низали на фонарные столбы жуткие трупы повешенных, резали груди у девушек и пьяные чеченцы, по освященному ритуалу, били еврейских детей головами о тумбы... Все равно, мы могли только в бессильном бешенстве, как волк в капкане, грызть собственные руки или землю, трещащую на зубах: деревянный мост был длинен и узок, защищен артиллерией и пулеметами, и при первой же попытке переползти его цепью мы оставили на середине у фермы двадцать восемь человек. И было бесполезно искать в темноте брод в этой проклятой речке с омутами и водовертями, в которых погибли днем, в минутной панике отступления, десятки поплывших людей.

И мы сидели молча и подавленно, окопавшись меж кочек и кутаясь с головами в шинели, чтобы не видеть и не слышать того, что творилось в жуткие эти часы в обреченной ложбине, за рекой.

В два часа ночи приехал неожиданно, на лошади за мостом переплыв реку, дивизионный комиссар. Он был оборван, грязен, насквозь мокр и простужен, он дрожал в ознобе и лязгал зубами, но сиплый шопот его звучал торжественно и строго:

— Товарищи! — сказал комиссар, дрожа и задыхаясь, и я помню ожегшее всех, как пощечина, беспощадное презрение в срывавшемся его голосе, — я не знал, что в дивизии есть б е г у н ы! Вы задали себе плохую работу, — вам неделю придется убирать

трупы по городу! Вам придется своими руками хоронить товарищей, которых вы бросили там, и послушать, что скажут вам дети, которых вы оставили сиротами, и посмотреть в глаза матерям, у которых не пересохнут больше слезы...

Он умолк, дрожал и окоченелыми пальцами рвал, задыхаясь, ворот грязной своей гимнастерки. И молчали все тоже. Потом Старчук, который работал фрезеровщиком на металлургическом и был старшим среди нас, глухо сказал:

— Иудство!

...Попытка к наступлению была бессмысленна до очевидности, и невозможным казалось взять разгороженный пулеметами мост, но было ли что-нибудь невозможное в незабываемые дни Мозыря и Перекопа и ночных рейдов в Приднепровье, если невозможного требовала революция? Мост нужно было взять — и мост был взят.

Старчук собрал среди нас все, что было горючего — бензин, спички, запалы, паклю и вату из зажигалок, — он разделся, горючим, увязанным в портянки, обмотал себе голову и, опустившись неслышно в воду, поплыл к мосту — в темень, в ночь, в омуты...

Старчук, наш милый товарищ, не вернулся больше, и мы не знали даже, где искать его тело, чтобы с почестями предать земле. Но Старчук, который работал фрезеровщиком на металлургическом, исполнил то, о чем сиплым шопотом говорил ему в две ночи на болотных кочках оборванный комиссар: мост, выжженный солнцем и пересохший на ветру, задымился и вспыхнул через час у фермы, где начинались заставы: заставы бежали, бросая пулеметы и в давке через перила срываясь вниз.

— Мост горит! — закричал тогда комиссар и, вскочив, побежал, спотыкаясь о кочки и проваливаясь ногами в топь, к освещенной пламенем реке.

И люди бросились за ним, и батальон перешел, задыхаясь в чадном удушье, опаляя лица, глаза и волосы, через горящий, брошенный мост: ничто не могло теперь остановить лавину, катившуюся к городу, откуда несся навстречу нам ужасный, леденящий сердце вой.

Озырь пал в четыре с половиной утра, когда опустился туман на реку и стало розоветь на востоке небо. Полковник Бугач, первопоходник и командир, был расстрелян в номерах „Флорида", где висела у него в изголовьях кровати родовая лядунка с надписью об успешном деташементе в Померании к покоренному городу Кольбергу.

Я вспоминаю о горевшем мосте через Верчунку всегда, когда переворачиваю в календаре двадцать третий февральский листок, ибо через этот безвестный мост, через многие горевшие мосты на Верчунках, ценою жизни многих Старчуков, фрезеровщиков с металлургического — пришли мы к этой славной годовщине, которую празднуем в каждый февраль революции.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Крест у насыпи

Если ехать из Москвы к югу и проехать Славянск, Лиман и Попасную, на девятой версте от блокпоста, на холмике, на ветру стоит крест. Он обветшал, он сточен и покороблен дождями, но каждую субботу чьи-то незримые руки с любовью убирают его зеленью, дернуют бока и осторожно ровняют мотыжкой верх, где привились и растут колокольчики. Это место чтится соседними деревнями как святыня, и даже пьяные, когда ночью шагают, горланя, по насыпи из местечка, стихают у креста и снимают шапки.

В четырех верстах отсюда, в деревеньке, в особняке над прудом, жил до революции помещик, гвардии его величества штаб-ротмистр Васька Дмуховской. Он жил в опале, выйдя в отставку после инцидента, когда пьяный, на трапезе в благородном собрании, вылил архиерею в клобук две бутылки шампанского „Редерер". Он безобразничал и здесь травил догами людей, пускал фейерверки над мужичьими стрехами и, отнимая одежду, с пруда голыми выгонял девушек на деревню. Мужики жаловались исправнику, но Васька был богат, и исправник, подъезжая к усадьбе, еще на мосту, у околицы, снимал картуз.

Былые свои грехи Дмуховской заглаживал дикой ненавистью к правде, надеждами на которую жил народ, и к людям, которые эту правду несли вместе с обреченными головами в родные степи и перелески.

Однажды пойманному в деревне агитатору надели на шею петлю, аркан, свободный конец прикрепили к рессоре, и Васька, в венской коляске съезжавший со двора, с места вскачь поднял сытую, стоялую пару. Лошади понесли в степь, привязанный человек, агитатор, дико хрипя и вытягивая сдавленную шею, пробежал за коляской несколько саженей, упал, и тело его, бьющееся о камни, о пни, окровавленное, бесформенное, насквозь пропитанное зловонной дорожной грязью, Васька волочил до местечка, до исправника, восемнадцать верст. Исправник выдал Ваське расписку в принятии „мертвого тела крайне вредного образа мыслей"; был суд, на суд Дмуховской не явился, и коронный суд, приняв во внимание зровредные попытки покойника к ниспровержению благоденствующей династии, признал, что Васькой не были превышены пределы необходимой общественной самообороны.

Другой раз женщину, которая раздавала на сходе листки и брошюры, Васька зашил в брезент, облепил снегом и снег полил сверху водой из брандсбойта. Ледяной этот жуткий ком с гиком прокатили по улицам и в рощице, за околицей, пустили в овраг под откос. Когда мужики разыскали его ночью, топорами срубили лед и вынули женщину из брезента, тело ее, промерзшее насквозь, трещало как дерево в январе. Чтобы не нажить беды, труп, примотав к ногам старый лемех от плуга, спустили на озере в прорубь.

Кого-то еще, кого-то из безвестных людей, у которых были сатиновые рубашки, горячие сердца и браунинги в карманах с отпущенными предохрани-

телями, кого-то проткнули здесь из-за угла вилами, вынесли на вилах, как сноп, и выставили на площади; кого-то в саване повесили на колокольне; кто-то заезжий исчез без следа, и перерыли всю волость, прежде чем нашли в болоте, за леском, торчавшее дышло его тачанки.

Это проклятое место стало известным скоро по всей округе, и те, которые приезжали сюда с литературой и на сходы, заранее бывали предупреждены и знали, что шансы их на жизнь, в лучшем случае, измеряются количеством пуль в запасной обойме под обшлагом; но жизнь людей, носивших косоворотки из сатина и обоймы за обшлагом, была отдана делу, и они служили ему со страстностью фанатиков; смерть не значила ничего, потому что убивали человека, но мысль его и его слова, сказанные однажды и радостно подхваченные и узнанные тысячами, жили, и, на смену каждому погибшему, новые, живые и зовущие к жизни приходили десятками.

В деревне не помнят точно дня, когда это случилось, — была холодная осень, мочили яблоки по дворам, ветер тучами кружил желтые листья с тополей, и стонали лозы на озере, — и на ночь в школу приехала на тачанке под сеном девушка из местечка. Не было, вероятно, ничего особенно нового и значительного в ее словах, но о воле, о новой жизни, о которых она говорила, знали здесь только из случайных листков и обрывков кем-то брошенных, случайных фраз, а живое горячее слово слышали сейчас в первый раз. И она поразила всех видом своим и голосом и глазами. В худой шубейке, схваченной ремешком, в милых детских рукавичках на обмерзших руках, которые она грела дыханием, маленькая и худенькая настолько, что прозрачной казалась восковая бледность ее лица, она похо-

дила на девочку, на ребенка; она кашляла, говорила тихо и мягко, как-то необычайно ласково и душевно, невозможно было слушать ее без волнения, и каждое ее слово, ожигая сердце, глубоко западало в душу; в расширенных ее и немигающих глазах был влажный и теплый, точно согревающий блеск, они как будто мерцали и светились в темной, наглухо завешенной комнатушке в школе. Казалось, что говорит она, изнемогая, что кровь по капле уходит из нее с каждым лишним, волнующим словом, что она теплится и тает на глазах. И бабы, когда она говорила, вздыхали жалостно и плакали по углам, и точно зачарованные смотрели люди, не отрываясь, в ее прекрасное и печальное лицо.

В полночь, когда пропели петухи на дворах, взломивши дверь, в школу ввалился с оравой пьяных ингушей ротмистр Васька Дмуховской. Держа в руке витой собачий арапник, он подошел к столику, за которым сидела девушка, и сказал зловеще, дыхнув ей в лицо тошнотным запахом винного перегара:

— Выходи, шлюха, поедешь в город.

Она ничего не ответила и сидела, не шевелясь, опустив глаза. Васька поднял руку; арапник со свистом прорезал воздух, и она, всхлипнув прерывисто и стонуще, обеими руками схватилась за рассеченную щеку, зажимая пальцами кровавый рубец. По толпе пробежала судорога; люди вскакивали, ломая парты и стулья, с мест. Колья, доски и ножи замелькали в воздухе, и девушку, оттертую к окнам, замкнул мгновенно круг хмурых и бледных, озлобленных лиц. Васька выхватил револьвер, бабы лезли под самое его дуло и кричали исступленно, разрывая холсты и обнажая иссохшие, пожелтелые груди:

— Бей! Ну, бей! Нехай диты запомнят!

Скверно ругаясь и арапником прочищая дорогу, Васька увел ингушей из школы. Девушка в углу сидела, сжавшись в комок, всхлипывала судорожно и глотала соленые слезы; бабы окружили ее, давали ей воду из ковшика, клали тряпочки и холодные пятаки на кровавый рубец, шершавыми ладонями гладили нежное ее лицо и стриженую детскую головенку, целовали ее в висок и в плечико.

— Дитятко, родненькое...

Ночью, переодетую, ее вывели огородами из деревни и на тачанке под сеном повезли на блокпост, чтобы посадить на товарный. До блокпоста оставалось две версты, когда сзади в степи замелькали неожиданно, приближаясь стремительно, прыгающие огненные точки. Хлопцы, которые ехали на тачанке, пустили лошадь вскачь, но лошаденка была низкорослая, брюхатая, и верховые с факелами, на Васькиных иноходцах, нагнали тачанку у насыпи, на девятой версте.

Девушка не испугалась и не вскрикнула, когда увидела зловещие, прыгающие огни и нагайки и шашки, занесенные над ее головой, но, падая, плюнула Ваське, пьяно гикавшему в седле, в лицо. Упавшую, ее притоптали храпевшими и метавшимися лошадьми, потом ингуши затушили о землю факелы и ускакали в ночь, в степь, к деревушке, где лаяли встревоженно и тоскливо выли собаки.

На заре, едва опустился на степь предутренний молочный туман с росой, на девятую версту пришли из деревеньки мужики с лопатами; они закопали изуродованное страшное тело под насыпью и, чтобы никто не знал об этом дорогом месте, сравняли могилку с землей и прикрыли сверху нарезанным дерном. С непокрытыми головами, постояв у насыпи несколько минут, они ушли в степь, хмурые и молчаливые, неся в сердцах нестерпимую злобу, обиду и боль и печаль.

В восемнадцатом году Ваську миром убили в деревеньке, тело бросили в болото и усадьбу сожгли дотла, разогнав по округе скот, чтобы не пачкаться о поганое добро; тогда же у насыпи, на девятой версте, на возведенном холмике поставили березовый, переплетенный лыком крест.

Крест одинок в степи и он безымянный, потому что никто не знал и не знает имени ее, девушки в детских рукавичках, с чудесными глазами, из которых теплился свет; но память о ней дожила здесь до дней, воплотивших в себе то дело, которому она отдала жизнь. Бабы из деревеньки приходят сюда по субботам, прибирают могилку и плачут тихонько, кончиками цветных платков отирая слезы на сморщенных коричневых щеках; на могиле растут колокольчики, и ребята не обрывают их, но в засуху таскают сюда с блокпоста воду в кувшинчиках и чугунках; крест обветшал уже, он сточен и покороблен дождями, но это место чтится соседними деревнями, как святыня, и даже пьяные, когда шагают ночью, горланя, по насыпи из местечка, — стихают у креста и снимают шапки.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Дамба

Выбли, деревушка, с трех сторон спертая болотами, лежала на клочке земли, формой напоминавшем подкову; мужики ездили в волость и в город через гать, через дамбу, пересекавшую в лозняках болотную топь. Дамба эта положена была еще при барине, при помещике, которому фамилия была Ус, Сергей Сергеевич Ус. Ус был интендантом и нажил на маньчжурских поставках три тысячи десятин чернозема и два публичных дома в столице, записанных на подставное лицо; и болотная дамба носила на себе явственные следы той легкости в мыслях необычайной и проворства искусных рук, каким отличен был Сергей Сергеевич, интендант, внешностью напоминавший хоря: его злые, колющие и сощуренные глазки бегали, как ртуть в плошке, и на ходу, задирая кверху головку, похожую на огурец и покрытую землистыми лишаями, он непрестанно втягивал воздух заостренным и точно шевелящимся носом. Так именно нюхает осторожно, подползая к курятнику, хорь.

По смете, которой многозначный итог втрое превысил действительную стоимость работ, Ус получил деньги на дамбу одновременно в земстве и в департаменте земледелия; потом он выставил деревням по ведру водки, и мужики вышли работать на гать

бесплатно и надрывались за тяжелыми тачками и студили в болоте опухающие ноги оттого, что это дело считалось **народным**, и Сергей Сергеевич, интендант, не раз с балкона объяснял старикам, что не из корысти, но единственно по причине нестерпимой любви к любезной вотчине и желая положить внушительный свой живот на благо опекаемого крестьянства — он строит гать на собственные средства, и этот акт великодушия с чувством иллюстрировал даже цитатою о памятнике, куда не зарастет народная тропа.

Старики говорили: „отец, благодетель“, ломали шапки и кланялись под балконом, где Сергей Сергеевич пил чай, по морскому австралийскому обычаю смешивая кипяток пополам с ромом.

Любовь к любезному народу в те времена легко была сочетаема, как известно, с приятным ростом сальдо на текущих банковских счетах. Тысячи, украденные на постройке, пошли на отделку вышеназванных заведений в столице в особом стиле „рюсс патриотик“, с резными кленовыми кроватями, со славянскою вязью и орлами на посуде, с девицами, одетыми в кокошники, и вышибалами, стрижеными в скобку; дамба же в Выблях, поднятая на фальшивом балласте, на речном песке вместо щебня, показанного в смете, стала оседать и расползаться пластами на другой же, после благодарственного господу-богу и увенчавшего доходное интендантское дело молебствия, день.

Об обмане мужики узнали много позже и случайно; ходоки от деревни ездили жаловаться в уезд и в губернию, они были у исправника, целую неделю ожидали однажды покорно, жуя припасенные ржаные лепешки, у черного губернаторского крыльца, пока выйдет губернатор, ломали шапки и кланялись униженно в передней у предводителя — не

явит ли предводитель милости народу и снисхождения. Но известно, что вором считался в те времена тот, кто стянул с голодухи черствый бублик на рынке; счастливец, у кого проходило сквозь пальцы сто тысяч, слыл просто талантливым дельцом; и человек, укравший миллион, возводился общественным проппперовским мнением на степень финансового гения страны.

Милости народу и снисхождения никто не явил, мужики возвращались ни с чем, и злоба, копившаяся и нароставшая в них, прорвалась и изошла тогда только, когда в семнадцатом году потянулись забитые эшелоны с фронта, бежали чиновники из губернии, и округа осветились заревом горевших помещичьих усадеб и спиртовых заводов. Сергей Сергеевич Ус, интендант, пытался бежать, когда вспыхнула рига с хлебом и он увидел в жутких отблесках пожара толпы угрюмых людей, вооруженных косами и кольем; в одном белье, скакавшего на иноходце, его поймали на дамбе и, благословясь, убили.

К дамбе же, изуродованной оползнями и провалами, приставлен был от общества с ответственным поручением взимать на ремонт по копейке с каждой конной переправы — дед Ефим Козорез. Старый солдат и кавалер, Ефим Козорез известен был стратегической хитростью, за которую получил некогда крест в походе против турок: самолично пленивши однажды сорок четыре турка и не имея караула для отправки пленных в тыл, он обрезал туркам все шнурки и пуговицы на штанах, почему турки шли как бы связанные, все время поддерживая падающие штаны и опасаясь, во избежание срама, сделать руками малейший свободный жест.

Приставленный к плотине для сбора копеек, Козорез, в сознании всей важности возложенного на него поручения, держал себя на дамбе величественно

и неприступно; однако, едва он собирал копейками сумму, в общем и целом составлявшую стоимость одной самогонной косушки, внук его, по прозвищу Пузанок, обдиравший в болоте сухие мхи, бывал неизменно командируем с посудиной к бобылке, которая варила на выселках вино. Дед, осушив косушку, делался весел и энергичен, он, проявляя крайнюю деловую активность, принимался без толку таскать озабоченно взад и вперед гнилые устойные обрубки и щебень в казанке, потом садился на дамбе, свесив книзу обутые лыком ноги, и пел по-солдатски, „имея в себе веселость, как бы орел“:

— Пишеть, пи-шеть царь турецкий, пишеть ру-ському царю...

Когда приходила суббота и надобно было сдавать обществу собранные деньги, Козорез, одев чистую рубаху и благословясь на восток славного господнего солнышка, шел на деревню, созывал стариков и, ожесточенно ударив о землю рваной шапчонкой, говорил неизменно, став на колена:

— Бейте меня, старики, православные,— пропил: бейте меня миром! Я просю!

Старики без злобы, для порядка, и с уважением легонько били его, плакавшего в ногах. Потом, очистившись, он опять шел на дамбу и, переодевшись, до новой субботы прятал чистую рубаху в шалаш; к этим поступкам его и обыкновению старики привыкли вскоре до такой степени, что, не дожидаясь его зова, сами стали сходиться в положенное время к пожарной бочке у колокольни, где аккуратно, без злобы, но для порядка и с уважением били Козореза по субботам.

Заменить же его было некем, потому что никто не хотел идти со двора, от хозяйства, собирать на болоте копейки, и дамба все больше и больше расползалась и оседала на фальшивом интендантском

балласте. Когда невозможно оказалось ездить по ней с грузом и лошади стали калечить ноги в провалинах, было решено в середу, в постный и трудовой денек, миром завалить, поднять проклятое место.

Но в назначенную середу выехало только двадцать дворов, и субботник отсрочен был на неделю, во вторую же середу выехали другие двадцать, но первые остались дома, потому что долг свой считали уже выполненным и не пожелали на дурницу опять гнать лошадей; осевшая дамба с оползнями и провалами осталась, как была, а мужики, проезжая здесь с грузом, выпрягали и стороною, по тропке, вели лошадей, на руках волоча затем, с криком и руганью, скрипучие и тяжелые, ныряющие в ухабах возы.

Ораторы, по большим праздникам наезжавшие в деревеньку из города, в речах своих всесоюзного масштаба неизменно спотыкались об эту дамбу и терялись как горячая лошадь на бегах, пред которой вырастает у самого финиша неожиданный и непреодолимый барьер.

Можно было говорить о семенной ссуде и электрификации, о Ллойд-Джордже и козням Антанты, о белом терроре и плантационном свеклосеянии, о западной революции, об атеизме, фосфорных туках или системе вексельного кредита в Бразилии, — вне зависимости от того, о чем именно говорилось на сходе, едва заканчивал оратор эффектной здравицей патетическую свою речь, кто-нибудь говорил, вздыхая сокрушенно, невидимый в задних тесных рядах:

— Товарищ, дорогой человек, а як же з тою данбой чортовой? И людям мука и скоту калецтво... Чи не можно издати приказ, щоб ми вийшли ее работать?

Товарищ из губернии, которому говорили о дамбе первый раз, был молодой человек в роговых очках, с геометрическим образом скудного мышления:

в его речи чередовались непрерывно точка зрения, угол понимания и линия поведения. О дамбе он сказал, что за деревьями не должен скрываться лес и нельзя терять по такому пустяку революционной перспективы, что вопрос этот республиканского значения не имеет и должен быть разрешен местными органами в порядке текущих дел.

Оратор второй говорил главным образом по вопросам духа, о революционном энтузиазме и пафосе борьбы. Знакомясь с бытом и услышав, что в деревне моются один раз в год, на Егория или в вербные дни, он изумленно пометил в книжечке — „неужели" и поставил три восклицательных знака, а когда ему опять-таки стали говорить о проклятой дамбе, пояснил кратко, что суть не в дамбе, но в освобождении личности. Мужики слушали, вздыхали тяжело и глядели вбок.

Третий товарищ клятвенно обещался через неделю прислать на болото мелиоративный отряд с инженерами, но отряд не явился, а самого товарища видели потом не раз, как по пути к волости он старательно объезжал эту дамбу и деревеньку кругом, большаком, за одиннадцать верст.

Когда приехал оратор четвертый, — это было золотой осенью, заплеталась паутинка в березняке, уже свезли хлеб и картофель, и бабы обильно варили в овинах пахучий самогон, — когда четвертый оратор кончил к полудню пространную повесть об англофилах под личиною национализма и реакционном засильи в Польше, из толпы протискался к столику уполномоченный миром дядя Сом, по прозванью Куценога, и начал, прокашлявшись в кулак, вводным, с течением времени отлившимся уже в готовый и несменяемый стереотип, вопросом:

— Товарищ дорогой, а як же з той чортовой данбой?

Фраза эта произнесена была, видимо, по соображениям чисто формальным, ибо, не дожидаясь ответа, дядя Сом, повернувшись, закричал кому-то, стоявшему за плетнем, у брички оратора:

— Федька, отпрягай его кобылу!

Потом дядя Сом, прерываемый многими откровенными репликами с мест, пояснил губернскому товарищу, что эта дамба у народа засела в печеньях, что тянуть мамонку дальше общество не согласно, что сами хрестьяне православные на работу не выйдут — „овца, дорогой человек, и эта, к примеру нашей жизни, на водопой без палки не идет“ — и что ему, губернскому товарищу, надлежит немедленно, на месте издать приказ о всеобщей, на болотную повинность, мобилизации.

Губернский товарищ, увидев, как повели в переулок его отпряженную кобылку и смыкается вокруг столика напряженная, ждущая и раздраженная толпа, почувствовал себя весьма скверно. Он, суетливо поправляя пенснэ, растерянно шмыгал носом, что-то пытался возразить и объяснить, но дядя Сом, извлекши из голенища карандашный огрызок и лист плотной махорочной бумаги, ласково сказал:

— Пиши, дорогой, а то заведем у тое самое болотце...

Приказ был написан именем Республики, дважды громогласно прочтен, и мужики поспешно разошлись по дворам. Они говорили удовлетворенно, с нотками искреннего облегчения в голосе:

— Раз що вийшов приказ, треба сполнити...

...Губернскому товарищу, которого парой свезли к болоту, дали на дамбе лопату. Он поработал, бросая тяжелый щебень, полчаса и почувствовал ломоту в пояснице и тупую боль в деревенеющих руках; но скоро ощущение той исключительной легкости и радости, какие дает здоровому человеку фи-

зический труд, овладело им. В обед его угостили гречневыми лепешками, и чьей-то деревянной щербатой ложкой с изъеденными краями он ел из глечика холодную застывшую сметану. Казалось очень вкусно, и совсем уже не было обидно, что его, заседавшего в губернских президиумах, насильно притащили сюда грузить песок и дикий камень в тачанки.

Мужики костлявыми ладонями весело хлопали его по плечу и говорили, подмигивая хитро и скаля белые, крепкие зубы:

— Жалиться не будешь? Не жалься, гляди, нá вон лепешечку...

О чем рассказал бухгалтер

...Я человек маленький, мой разряд одиннадцатый, много рассуждать не дано-с: говорю, если вызовут. Но в смысле цифр имею свое реноме и естественное призвание. Еще покойный батюшка, едва я мяукнул, появившись на свет, справедливо отметил: „Этот шельмец бухгалтером будет, в папашу“. И я, действительно, занялся по счетной части, постиг двойную премудрость и шестнадцатый год вывожу примерное сальдо в отношении гвоздей. Считаю и молчу: говорю, если вызовут.

И однажды, вот именно-с, вызывает меня Адольф Иванович, второй помощник директора, и срочно требует выпись квартального оборота. „Мне,—говорит,—поручено всесторонне обследовать гвоздь нашего комбината, отчего он не дешевеет согласно циркуляра правления, какие там штаты и себестоимость и режим экономии. Постольку, поскольку — говорит — будьте готовы, беру вас с собой“. Слушаю-с, лечу. „Единственно — говорю — прошу иметь в виду, что по калькуляции я слаб, это дело для меня темное, как письмишко вновь открытого царя Тутенкамона“. Но Адольф Иванович сказал, что комиссия составляется обширная, калькуляторы будут особо, и я поклонился.

Хорошо-с. Напекла мне жена пышных лепешек, мчусь я на вокзал и вижу там ужасное множество командированных лиц, для которых безусловно необходим самостоятельный двухосный вагон. Сам Адольф Иванович — второй помощник директора, секретарь их Безбородько, инженер из производственного, инженер из торгового, ревизор, товаровед, юрисконсульт, калькулятор, складских двое, машинистка и Петр Сазонтьевич, управленский курьер. Прямо скучно мне стало: одних ведь бутербродов сто штук в день съедят! Спрашиваю у секретаря Безбородько — для чего тринадцать человек, такая ужасная дюжина? Он говорит: „Для авторитета, а вам жалко!?“ Молчу, молчу...

Хорошо-с. Приехали мы под вечер, нас ждут, и управляющий с крыльца произнес речь: в общем и целом, говорит, налаживается, как таковое. Закусили, чем бог послал, выпили по одной за здоровье дорогих приезжих и, на сон грядущий, сели переброситься по маленькой в преферанс. Адольф Иванович, второй помощник директора, на ответственном висту, при семи бескозырных пробросивши черву, остался без взятки и очень взволновался, прямо желтый весь стал. Долго он этого ремиза забыть не мог и, даже когда доклад у меня принимал о ревизии баланса, подумавши, сказал: „это все хорошо, это так, но для чего вы с валета ходили, бубен мне не показали?“. „Адольф Иванович, — говорю я, — я с бубен выйти не мог, в бубнах у меня король сам друг с девяткой был, карта щекотливая“. Он сердится: „Ходили бы с трефей, а вы партнера ремизите, это ужасно, мне даже снилось“. Вот привязался, думаю, еще сократит, пожалуй. Спасибо управляющему, видит такое положение, предложил переиграть кон, якобы колода была не тасована.

Хорошо-с. По вечерам от скуки делаем различные распасовочки-с, днем же работаем относительно

гвоздя: почему он не дешевеет согласно циркуляра правления. Я свою часть доложил скоро — бухгалтерия показалась аккуратная, и прибылей не скрыли; но другие всесторонне занимались названным гвоздем одиннадцать дней, и каждую, можно сказать, пупырушку обсудили и занесли в протокол, — бумаги исписали столько, что Петр Сазонтьевич, управленский курьер, на парном извозчике акты вез на пленарное заседание-с.

Стали мы пленарно обсуждать гвоздь, почему он не дешевеет шельма, и обнаружилась весьма злостная причина в штате: на каждый фунт вроде того, что два упаковщика, и в одной конторе клерков больше, чем у господина Джона Фишера, скажем, который поголовно снабжает дрожжами американский материк. Адольф Иванович, второй помощник директора, предложил жесткое сокращение, и все голосовали единогласно, но дальше случился ведомственный спор и великое смешение командированных языков-с.

Ревизор наметил, например, табельщиков и сортировщиков, но тогда ужасно огорчился инженер из производственного, а так как он заика-с и его опасаются волновать, табельщиков оставили в комплекте. Секретарь Безбородько сверх норм насчитал восемнадцать приемщиков, но за склады вступился товаровед с намеком, что надо сначала выгнать секретарей, которые от безделья ладонями бьют на конторках осенних мух-с. Секретарь Безбородько безусловно был уязвлен, но товаровед разбил в сердцах чернильницу, и вопрос оставили открытым.

Как говорится — так и далее, до самой Италии. Конторские намечают с производства, а с производства намечают конторских, склад жмет на подсобных, а подсобные на склад — оно взаимно отрегулировалось, и получилось так, что сократить совершенно

некого, одна единственная машинисточка в тираже оказалась, которой не нашлось защитника. И все на нее ужасно почему-то рассердились, и Адольф Иванович сказал грустно: „Какая безумная трата государственных средств!“. И сейчас же, конечно, закончив работы выездной комиссии, издали приказ о жестком сокращении машинисточки.

Хорошо-с. Вечером сели перед дорогой доиграть последнюю птичечку, и вдруг звонит по личному мотиву эта самая машинисточка. Ее принимает, конечно, секретарь Безбородько, она вынула платочек, говорит, что матушка у нее страдает ишиасом, ужасной болезнью седалища, сама же она политграмоту сдавала, всех социал-предателей наперечет знает. Секретарь Безбородько, очень представительный мужчина, как посмотрел на нее, сейчас же стал поправлять галстук и говорит: „Не беспокойтесь, говорит, при ваших способностях, мы вас переведем в центр“.

И с этим мы поехали назад. Я сижу и, имея к цифрам естественное призвание, как бы подвожу изустное сальдо: машинисточка-то пятьдесят два рубля получала, да и ту в центр переводят — а на одни наши командировочные можно бы целый цех оборудовать двухтактными машинами Сименса. Где же тут дешеветь гвоздю, согласно циркуляра правления?

Но, когда я подошел с этим изъяснением к секретарю Безбородько, он сделал сухое лицо. Молчу, молчу... Я человек маленький, пусть вызовут — скажу...

Развод

Когда Яков Бацаев, служащий с шахты и сын крестьянина, известного в деревне под скверною кличкою „Костоглод“, вступил в партию и получил командировку в вуз, он оделся в городской пиджачок с кокосовыми пуговицами, выпустил цепочку по животу и стал говорить о себе во множественном числе, в выражениях туманных, витиеватых и недоступных пониманию окружающих. Его жена, простая и неграмотная женщина, за многие годы тяжелой и темной крестьянской жизни успевшая позабыть даже глаголы, когда-то усвоенные в школе, была рада за мужа, но эта внезапная перемена огорчила и встревожила ее, и она думала с беспокойством, что город и новые люди и новые интересы оторвут мужа от семьи, которая своей убогостью может стеснить его в его теперешнем высоком, как она это представляла себе, положении. Эта тревога ее усилилась, и она была оскорблена, когда муж, побывавши в городе и вернувшись домой, с некоторым раздражением стал попрекать ее мелочами, которые были естественны и неизбежны в нищем деревенском быту и которых сам он никогда не замечал раньше. Он морщился брезгливо, когда хлебной коркой она доставала за столом мясо из горшка, придерживая

кусочек пальцем; его раздражал кислый запах овчины в хате и ее постоянные крики во дворе, когда она сзывала птицу и поросят; он оглядывал с пренебрежением ее вылинявшую кофту из холста, когда-то покрашенного суриком, и грубые домотканные чулки на ногах и бесцеремонно сравнивал это вслух с костюмами женщин, которых он видел и с которыми знакомился в городе. Точно подменили человека, точно чужими, холодными и враждебными глазами он смотрел на нее и на детей и на дом, в котором они прожили дружно с лишним восемь лет.

Она плохо понимала, почему это произошло, плакала и во всем обвинила сначала партию, в ее представлении внушившую мужу презрение к деревенской жизни и к деревенской нужде. Она поняла, что это не так, побывав в ячейке на шахте, где секретарем был Федор Иванович Маховой, забойщик, душевный и сочувственный, как говорили шахтеры, старик. Федор Иванович выслушал терпеливо спутанный ее и взволнованный, до краев наполненный горечью и обидами рассказ и, когда она плакала, молча гладил ее голову шершавой, растрескавшейся и черной от угля рукой. Потом он объяснил ей, что партия никому не может внушать презрения к рабочей нужде, потому что партия состоит из людей, тоже прошедших суровую, тяжкую и бездольную жизнь, что Якова Бацаева они приняли в партию и послали учиться, чтобы он свои силы и знания отдал потом народу, из которого сам вышел, и что, если он этого не понимает и стал гнушаться женой, потому что жена не одевается в городские чулки и смыкает подол, когда болтает опару для свиней, то ячейка примет меры, чтобы разъяснить ему нехорошую сущность его поведения.

Он действительно вызвал Бацаева и проговорил с ним, запершись в комнатушке, около трех часов.

Яков Бацаев вышел из комнатушки красный, вспотевший и позабыл шапку на подоконнике. Он переменил тон, стал ровен и спокоен, шутил иногда и даже изображал ласку, но в словах его и поступках скорее чувствовалась осторожность, чем искренность; он был напуган, но ничего не понял из того, о чем ему говорил в ячейке Федор Иванович Маховой.

Вскоре жена узнала о связи его с дочкой местного священника. Девицу звали Раечка, она носила испанский гребень и бумажную палевую розу в волосах и без причины хохотала так громко и глупо, как будто ей щекотали пятки соломинкой. Жена снесла это молча, глубоко затаив горе и не показав даже виду, что ей известна эта связь, о которой знала каждая курица в деревне. Она хотела избежать ссоры, надеясь еще, что пройдет эта блажь и все образуется. Когда муж исчезал к ночи, она шла, уложив ребят, поплакать в каморе и на топчане лежала там, вздрагивая, с головой прикрываясь шубенкой, чтобы в хате не слышали рыданий, которых она не могла удержать.

Раиса Алексеевна, дочь священника, забеременела вскоре и умерла, сделав у бабки неудачный аборт. Яков Бацаев скорее был встревожен, чем огорчен, и, делая вид, что смерть эта его не касается, не вышел на похороны, а через месяц сошелся с молодой монашкой из Севского монастыря.

Жене показалось это гнусностью, она не могла больше сдерживаться и молчать, и ночью в их каморе разыгралась безобразная и грубая сцена. На шум пришел со своей половины отец Бацаева, которого в деревне знали под скверной кличкой „Костоглод". С тех пор как Яков стал студентом, старик считал невестку совершенно неподходящей для сына женой и мечтал, добившись развода, женить его сызнова, взяв в приданое мельницу на ставке,

издавна составлявшую предмет его хозяйственных вождел'ений. Он взял окованный медными бляшками недоуздок со стены и, подойдя к замолкшей женщине, злобно и грубо сказал:

— У меня сын партийный, а тебе и перемениться-то не во что, голь! Рази тебе со студентом жить, потаскуха?

Он замахнулся, Яков Бацаев стоял молча, отвернувшись к стене...

Когда сын уехал к занятиям в город, старик выселил невестку в амбар и распорядился ничего не давать детям, кроме мерзлой картошки, из которой варили месиво для свиней. Когда однажды старуха, сжалившись над ребятами, тайком понесла в амбар щей под полою, он остановил ее во дворе, избил и наплевал в миску. Каждый вечер он приходил в амбар и, усевшись на топчане у дверей, начинал говорить о разводе, грозясь выгнать невестку на улицу, или обрезать ей косы на голове, или вымазать дегтем ветхие двери ее жилья. Она защищалась сначала, потом ослабела, устала, ей все стало безразлично, и она сдалась, подписав подсунутую „Костоглодом“ бумагу.

К моменту развода приехал Яков Бацаев, и они втроем пошли в Загс. В Загсе Якова спросили о причине развода; он промолчал, но вперед выступил старик и объяснил с достоинством, что сыну его, как партийцу и студенту, не пристало жить с простой деревенской бабой. Хмурый человек в Загсе сказал, делая пометку в регистре:

— Гнусный же ты однако, старик!

Старик смолчал и поджал сухие сморщенные губы.

Осенью, в стужу, с детьми ее выгнали на улицу, отобрав, как собственность мужа, все ее теплые носильные вещи; старуха незаметно сунула ребятам по ржаной лепешке за пазуху.

Около года мыкалась она с детьми по деревне, по грошам собирая те пятнадцать рублей, за которые ей соглашались сдать угол в избушке на околице. Приткнув кое-как измученных, застуженных и больных ребятишек, она стала уходить на поденные заработки в соседний уезд. Там, на плантациях, люди посоветовали ей подать в суд.

Севский народный суд обязал Якова Бацаева выделить семье часть хозяйства и ежемесячно выдавать жене на содержание детей по четырнадцати рублей. Но старик, узнавши, что ей выдан исполнительный лист, перевел имущество на имя соседа, и ей достались от раздела больная шатом овечка, которая издохла в пути, и двое молочных поросят. Яков же Бацаев кассировал решение суда об алиментах, и это решение в губернской инстанции было отменено.

Она жаловалась вторично, опять получила исполнительный лист, и снова решение нарсуда было отменено в центре.

Ко времени, когда дело разбиралось третий раз, Яков Бацаев переехал в Бахмут и на суд не явился. Копию судебного решения — о взыскании с него на содержание детей шести рублей ежемесячно — она переслала исполнителю в Бахмут, но известий оттуда не получила.

Она бросила судиться, потому что суды лишали ее заработка и детям нечего было есть. В последний раз ночью за печкой, где горело вместо лампы политое керосином полено, безграмотными каракулями она написала письмо в бахмутский партийный комитет. Все ее тяжкое горе излито было в этих неровных и наивных, перепачканных копотью и слезами строчках; всю обиду ее и надежду и боль впитал в себя этот серый, пахнувший мылом, бумажный оберточный клочок; всю душу ее вобрали

в себя эти мертвые, дрожавшие буквы, которые невероятным усилием восстановила она в тяжелой и притупленной своей памяти, чтобы забыть после этого навсегда.

Ответа на это письмо тоже не было...

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

План, как он есть

— Заседание волостного исполнительного комитета по разбору пятилетнего плана промышленности объявляю открытым...

Со вздохом председатель развернул необъятную холщевую папку, где на этикетке было вычерчено тушью: „инструкция“. Члены, готовясь курить до одурения, вынули покорно кисеты с махоркой „Рыбак № 13“. Курьерша Хима, заправив фитиль в лампе и поставив на стол жестяной ковш с водой, села в углу, выжидательно подперев подбородок рукой.

„...Плановое начало не только должно подчинить себе сферу текущего регулирования народно-хозяйственной жизни в форме годовых оперативных планов, но, сверх того, должно связать реальной преемственностью целый ряд следующих друг за другом лет в форме перспективного плана. Необходимость фактического приступа к перспективному планированию усугубляется тем обстоятельством, что, участвуя на протяжении последних лет в процессе восстановления народного хозяйства, промышленность в настоящий момент подошла вплотную к полному вовлечению в сферу активной эксплуатации всего исторического унаследованного комплекса искусственных производительных сил...“.

Председатель остановился, хлебнул из ковшика и, потупясь, спросил:

— Ну как, товарищи, принимается?

Член, ведавший столом финансов, ответил уклончиво, растирая на пальце махорочный корешок:

— Нехай так. Валяйте дальше: примем в общем и целом.

„...В перспективном плане промышленности должны получить надлежащее отражение: во-первых, тенденция неуклонной индустриализации страны при прогрессивном росте концентрированности производства и его рационализации. Во-вторых, сопряженная с этим интенсификация использования энергетических ресурсов страны. В-третьих, индустриализация экспорта в смысле возрастания его во внешнем торговом балансе Республики. В-четвертых, изменение в процессе революции социального состава городского населения, рост культурного уровня и связанная с этим динамика внутреннего спроса, как исходная гипотеза всего перспективного плана. При этом предположения тщательно должны быть проверены со стороны мощности питающей сырьевой базы, недр страны, основного капитала предприятий, транспортных условий и контингента рабочей силы...“.

Из угла, где сидела Хима, раздался мерный храп с присвистом. Председатель, вглядываясь в темноту, строго сказал:

— Курьерша Хима, не спите, когда обсуждается пятилетняя перспектива. Идите по вашим надобностям.

Хима, крестя зевающий рот, вышла, оглушительно стукнув в сердцах щеколдой. Член, ведающий финансами, угрюмо сказал:

— Мне, как бы сказать, неясно о недрах и транспорте. Хомуты, что ли, считать будем по волости? Какие наши недра, разве голой рукой залезешь? Сколько там страниц-то?

— Сорок шесть, — рукавом отирая лоб, сказал председатель.

— Ну, валяйте, валяйте, — обсудим в общем и целом.

„... В текущее пятилетие должно быть положено начало рациональному размещению предприятий по территории Союза с точки зрения задач индустриализации и максимального удешевления продукции, принимая во внимание географические границы конкретного рынка и особо учитывая экспортные возможности.

„При учете финансовой строны перспективного плана следует исходить из следующих соображений: во-первых, краткосрочное банковское кредитование должно служить лишь целям торгового и производственного оборота, с соответственным уменьшением инвентаризации этих средств. Во-вторых, увеличение объема краткосрочного кредита тесно связано с развитием денежного рынка в стране. В-третьих, капитальные затраты промышленности должны базироваться на фондах, находящихся в ее распоряжении. В-четвертых, сырье отечественное принимается к последнему году пятилетия в 1,2 довоенной цены, импортное же стабилизуется на все годы по его нынешней цене. В-пятых, прямое и косвенное обложение сохраняется на нынешнем уровне.

„Перспективный план излагается в форме пяти последовательных годовых планов по формам оперативного планирования, как они преподаны ВСНХ на 1925/26 хозяйственный год, и сопутствуется объяснительной запиской. Данная объяснительная записка...“.

Пропели уже вторые петухи, и в окно пробивался рассвет, когда подошли к формам учета обследования и сводкам производственных вариантов. У членов без остатка вышел „Рыбак № 13“, и они ожесточенно

выскребали недокуренные крошки из пахучей сосновой пепельницы. На селе скрипели колодцы, и по улице, чухаясь о призбы, пробрела первая полунощная свинья.

Курьерша Хима, отоспавшись в каморе, песком выскребала полы и рамы в отделе записей актов гражданского состояния. Охрипшим голосом председатель дочитывал последние восемь ротаторских строк:

„Перспективный пятилетний план промышленности с объяснительной запиской, согласно прилагаемой инструкции, борисоглебский УИК предлагает всем волостям представить в течение десяти дней по получении сего, для последующего представления в тамбовский отдел народного хозяйства".

Воцарилось тягостное молчание. Члены грустно поникли обреченными головами.

— Ни черта непонятно,—угрюмо сказал, наконец, секретарь,—а писать надо. Другие волости напишут, а мы в дураках останемся. С чего начинать только?

— Важнее всего деньги,—сказал член, ведающий финансами:—червонец всему голова. Начнем с червонца.

— Важнее всего недра,—сказал земотдел:—хотя финансовая часть выступает против, но без недра никуда не уедешь.

— А по-моему география,—сказал наробраз:—надо раскумекать, что к чему.

Председатель загадочно молчал. Но он соображал что-то, и морщины постепенно разглаживались на его посеревшем от бессонной ночи лице. И когда на него устремились чающие взоры, он сказал облегченно, решительно захлопнув папку в сорок шесть старательно прочитанных листов:

— Самое важное, товарищи, это то, что ни в одной из волостей Борисоглебского уезда вообще нет промышленности...

Рассказ с идеологией

В городке, где цветут на бульварах розовые каштаны и девицы, в нежном возрасте мечтающие о синей птице и рыцарской любви, успешно разводят по выходе замуж иоркширских поросят и крутохвостых заморских индюков, где в парикмахерских освежают одеколоном „Ноблесс“, где есть Гоголевская улица, гостиница „Гранд-Палас“ и свой городской сумасшедший Мотя, — в этом городке, проездом, я написал однажды рассказ. Он был одобрен редакцией и сдан в печать.

Знатоки утверждают, что есть три приятных момента в литературном творчестве: момент писания, момент, когда рассказ „выходит в свет“, и время по средам, от двенадцати до двух, когда в конторе выдают гонорар. Стадии промежуточные мрачны и неприветливы, и они ввергают иногда начинающих авторов в состояние, в котором человек решается на крайние и безрассудные поступки: он может подать заявление об авансе, или, что еще хуже, написать второй рассказ.

Моя рукопись, как сказано выше, была сдана в типографию, но оттуда она не вышла, и мне пришлось объясняться с цензором в главлите уездного масштаба.

Цензор был молодой человек с печатью стопроцентной идеологической выдержанности на челе. Он сидел в главлите, горделивой осанкой напоминая нунция, и от скуки ногтем колупал перед зеркальцем угорь, совершенно неуместно выступивший у него на щеке, возле мочки.

— Я с вами несколько несогласен, — сказал цензор и, перестав давить угорь, ткнул указующим перстом в сторону моих, исчерканных синим карандашом, гранок.

Начало не предвещало для рассказа хорошего: малютка явно рисковал скончаться, не изведав радости ротационного давления.

— Темой взято у вас рождение человека, — сказал цензор: — это хорошо. Республике нужны новые люди. Смена. Цветы жизни. Аборт есть социальное несчастье, ведущее к вырождению населения. Но почему, позволю себе спросить, вы назвали рожденного Петром? Петр — это значит камень. Камень за пазухой. Камень в чей огород, позволю себе спросить? Далее, мать у вас в разговоре с мужем утверждает совершенно голословно, что младенец похож глазами на индийского писателя Рабиндраната Тагора; поскольку эта личность мне неизвестна, оспаривать не берусь, но сомневаюсь, чтобы для определения сходства нехватило вождей великой русской революции. Наконец, рожденный во всеуслышание испускает звуки „бя“ и „бю“. Как это понимать, позволю себе спросить? Конечно, это может значить — бязь, пролетарская материя, или бюрократ, беспощадная война бюрократам! Но, поскольку это может обозначать и другое, классовой ясности здесь, согласитесь, нет: это вредная пища для обывательских кривотолков. Мы же нуждаемся в таких выдержанных произведениях, которые...

— Хорошо,— покорно вздохнул я: — я переделаю.

— Переделайте, молодой человек, — поощряюще сказал цензор, вновь принимаясь ожесточенно за угорь у мочки.

Никакой охоты кромсать рассказ у меня не было. Но незримые тени умученных синим литовским карандашом рассказов взывали ко мщению, ведомость на гонорар рисковала лишиться моего автографа, и во мне было оскорблено профессиональное чувство. Я решил вступить с цензурой в своеобразное единоборство.

В переделанном рассказе младенец фигурировал у меня под именем „Организатор“ и, ежели пренебречь отсутствующими волосами, в стопроцентной степени походил на Фридриха Энгельса в детстве; он был вполне сознателен, не испускал никаких предосудительных звуков, но, выйдя из материнского чрева, солидным пролетарским баском осведомился по дороге в люльку о состоянии социалистической промышленности и последних событиях в Китае.

Цензор отчеркнул два места, поставил на полях нотабену и сказал:

— В общем и целом приемлемо, как таковое. Но почему, позволю себе спросить, он осведомляется о Китае? Конечно, каждый сознательный революционер болеет интересами угнетенных наций, но это может быть истолковано как намек на пропаганду Коминтерна и вмешательство во внутренние восточные дела. С другой стороны — промышленность. Я согласен, что радостный и непосредственный возглас Организатора о довоенных нормах выработки в тяжелой индустрии звучит музыкально, но допустимо ли, позволю себе спросить, в аграрной стране забыть в такой момент о крестьянстве? Где середняк, позволю себе спросить, центральная фигура нашей экономики? Комбеды? Незаможники? Общества взаимо-

помощи? Согласитесь, здесь отсутствует политическая установка, и поскольку нам нужны в настоящий момент такие идеологические произведения, которые...

— Хорошо, — сказал я и почувствовал, как на скулах у меня заработали желваки: — я переделаю.

И я заменил Китай государством, где не было обнаружено ни одного зловредного коминтерновского письма, и прибавил к социалистической промышленности безупречно-середняцкую деревню, куда младенец высказал желание переброситься добровольно по достижении первой зрелости для введения тракторизации, машинизации, научного куроводства и организации многопольного севооборота на землеустроенных полях.

Цензор счел классовую линию достаточно выпрямленной и поставил на рукописи разрешительный штамп. При этом он сказал:

— Советую поработать над собой в идеологическом направлении: ведь у вас — способности...

Из редакции мне принесли рукопись обратно с запиской от редактора. Редактор, мой старый приятель, любезно сообщал:

— Только по старой дружбе не отдал куроводство вместе с тяжелой индустрией на оклейку окон курьерше Варе. Стыдно так писать. Ведь у вас — способности...

Проезжий из Орловщины

Восьмого сентября 1924 года, скорым северным поездом, миновав Екатеринослав, он сошел в шесть тридцать в Новомосковске и на дощатой захолустной платформочке был встречен человеком в клетчатом кепи, дружески и почтительно принявшим из рук его домашние свертки и чемодан. На пятнадцать минут мы теряем обоих из виду. И, хотя Новомосковск, как станция буфетная, соблазнительно отмечен в путеводителях аппетитной коньячной рюмкой — не станем особо подчеркивать эту щекотливую деталь: мало ли какие надобности бывают на вокзале у приезжего человека!

Через четверть часа к подъезду, обсаженному липами, подают шарабан: сытые, стоялые кони жуют удила, бьют нетерпеливо влажную землю копытами, они с места рысью берут экипаж, и постромки натягиваются на ходу, как струны. В степи роса, степь умыта и золотится краем заходящего солнца, степь звенит и благоухает тысячью запахов и голосов. Легко дышать, и русская душа желает простора. Из экипажа кричат:

— Пошел, гони!

Кучер подымает кнут, лошади, комьями разбрасывая грязь, идут вскачь. Редкие прохожие шарахаются испуганно вбок и, ругаясь, рукавами счищают

грязь с одежды и с лица; лают собаки в таборе, мечутся тревожно перепелки в траве.

— Гони!

Неожиданно и круто кучер осаживает взмыленную загнанную пару. Дрожащие лошади с храпом рвутся из постромков и бросают вокруг желтоватую пену; замирающий крик слышен из-под колес. Обеспокоенно и мрачно кучер говорит, спрыгивая с козел:

— Кажись, бабу задавили!

В молчаливом созерцании из тарантаса свешиваются через кожаные крылья две головы. Присев на корточки, кучер кричит под колеса:

— Посуньтесь, бабочка, посуньтесь до мене!

Из-под кузова, стонущая, вылезает с трудом, одетая в старенький залатанный ситец, вся облитая грязью, старушка с исцарапанным и покрытым кровоподтеками лицом. Она плачет, трясущимися руками поддерживает расшибленную ногу, на морщинистом лице ее слезы смешиваются с грязью, капают с дрожащего подбородка на сбитый с седых волос, порванный холщевый платок.

Превозмогая веселость, навеянную русской ездой и задержкой на вокзале, двое усаживают ее в шарабан и, высказав сочувствие, приличное случаю, торопятся узнать, кому посчастливилось встать живым из-под кованых колес их ретивого шарабана.

Жена инвалида и пенсионера, старика народного учителя, она живет скудными крохами поденного труда; схоронила сына-комсомольца, теперь в горе; одиноки они со стариком в суровой нынешней жизни, как версты в поле. Все, кажется; что еще?

Оба в шарабане вздыхают облегченно; они застегиваются, как говорят на востоке, на все пуговицы души, становятся сразу суше, усаживаются с достоинством, солидно и поплотней: персона не слишком грата.

Старуха стонет, силясь поддержать на ухабах разбитое, сведенное ломотой тело. Чем будет жить семья, если она сляжет теперь, лишившись поденных полтинников, в постель?

— Подавайте в суд, — говорит прищурясь тот, который в шесть тридцать сошел с северного скорого поезда. — Жалуйтесь...

Да, пожалуй, но жалобой не вернешь искалеченных ног. Кроме того, она не знает, кому обязана внезапным своим несчастьем. Если не секрет?..

Человек, который в шесть тридцать сошел с северного поезда, опускает глаза и, выдержав минутную паузу, говорит, загадочно чему-то усмехаясь:

— Я-то? Да я, собственно... проезжий из Орловщины.

....

В жару старуха Иванова, Елена Петровна, слегла в постель: на обеих израненных ногах открылись глубокие гнойные гангренозные раны. В нищете, с трудом перебиваясь на пенсионные гроши мужа, лежала она всю осень; в ноябре ее свезли в больницу, оперировали, спасли ноги, но незакрывшаяся рана дала новое, рожистое осложнение; совершенно измученная и обессиленная, только к Рождеству она поднялась с постели и с жалобой пошла в исполком. В городке случай с ней стал предметом общего и живейшего обсуждения, и там давно уже знали и сообщили ей, что шарабан был исполкомский и в нем галопировали в тот день и искалечили ее секретарь местного партийного комитета Меерзон с сотрудником исполкома Уманцевым. Ссылаясь на увечье и трехмесячную тяжкую и лишившую ее заработка болезнь, старуха просила возместить ей за счет любителей быстрой езды скудные ее поденные гроши. В исполкоме председатель принял заявление и просил зайти через неделю. В назначенный день в его

кабинете она застала неожиданно того самого проезжего из Орловщины, который советовал ей жаловаться в суд. Проезжий из Орловщины сказал внушительно, указуя перстом в собственную грудь:

— Я — Меерзон!

Потом, наступая на обмершую старуху, он закричал:

— Как вы смеете утверждать, что я вас переехал, и дискредитировать партию и Коммунистический Интернационал ?!

Связь Коммунистического Интернационала с чрезмерно веселой ездой Меерзона на исполкомской тачанке показалась старухе загадочной, но она ничего не успела возразить, потому что председатель сказал строго, костяшками пальцев ударив по столу:

— Вопрос исчерпан, подавайте в суд!

В апреле состоялся суд. В суд явились, кроме старухи, два лечивших ее врача и фельдшерица, три месяца изо дня в день перевязывавшая гангренозную ее, израненную ногу. Меерзон и Уманцев, несмотря на многократные просьбы Ивановой, вызваны не были; и самое заявление ее на суде зачтено было лишь до того места, где впервые упоминались их имена. Блистал вначале отсутствием и председатель исполкома. Трижды посылался за ним кучер, пока, наконец, судья, выведенный из терпения, не закричал, высунувшись в окно, на всю улицу, с явным намерением быть услышанным в исполкоме, расположенном как раз напротив камеры уездного правосудия:

— Поди скажи, нехай немедленно является ктонибудь, хоть тумба!

В качестве исполкомовской тумбы на крик отозвался, наконец, секретарь президиума Шевченко, на суде завладевший речами, как некий Алкивиад.

Он говорил весьма пространно, цветисто и витиевато, безмерно любуясь, видимо, перлами соб-

ственного красноречия. Достоверность происшествия казалась ему весьма сомнительной, экипаж исполкомовский он трактовал, как жертву злобной клеветы мелкой городской буржуазии, сбитой, как известно, с идеологических позиций еще в 17-ом году, и утверждал, что старуха, очевидно, сама себя переехала; если же допустить, что нечто все-таки было экипажем переехано, то отнюдь не старуха, но холщевый старухин мешок с вещами, в дорожной суматохе ошибочно принятый за ее голову; поскольку врачи свидетельствуют, что два месяца лечили израненные старухины ноги, он признает означенные ноги дефакто, будучи однакоже твердо убежден, что истица искалечилась еще в поезде или же вообще слегла внезапно по причине старческой немощи и преклонных лет; он уверен во всяком случае, что советская власть в лице местного исполнительного комитета не будет дискредитирована по навету лица, которого социальное происхождение и классовая принадлежность, как интеллигентки в прошлом, чужды делу международной революции, товарищи!

Нелепость логических и юридических его построений была очевидна и врачи свидетельствовали увечья, нанесенные старухе тачанкой; напротив, наконец, в исполкоме, сидели у раскрытого окошка, видимые простым глазом, Уманцев и Меерзон, которые переехали ее в степи. Суд однакоже счел факт неустановленным и в иске старухе отказал: виват уездная юстиция!

Иванова кассировала приговор в губернию. В июне дело, рассмотренное в Екатеринославе, с опротестованным решением было возвращено на место для нового разбирательства.

Через четыре месяца, 31 октября, был назначен вторичный разбор, но в другом городе, в двадцати верстах от Новомосковска: любишь, говорят,

судиться, люби и по тракту шагать! Денег на подводу не было; по снегу, в изморозь, старуха поплелась на судилище пешком. Шла она, обмотавши бумагой больные ноги, целые сутки, отдыхая в сугробах под вербами; ноги стыли и коченели, ветер продувал через овчину, выли волки в перелеске, на душе было скверно и тяжело. Вопрос денежный уже перестал для нее существовать: она возбудила иск потому, что так ей посоветовали в городе, и всегда готова была отказаться от него. Но она сердцем чувствовала обиду, она возмущалась неправдой, и эти чувства угнетали и волновали ее.

Суд 31 октября не состоялся за неявкой ответчиков: Меерзону был недосуг, в исполкоме же повестка не прошла еще входящей. Судья неопределенно сказал:

— Наше дело вызвать.

Старуха ни с чем по снегам пошла назад. Теперь уже в городке наперебой советовали ей пожалеть себя и — подальше от греха — взять жалобу обратно; еще за клевету, пожалуй, привлекут, скажут, это она нарочно гангрену подпустила, чтобы Интернационал ошельмовать, в котором Меерзон состоит непременным членом. Пойди-ка доказывай, что тебя переехали!

Но старуха упорствовала; она ясно чувствовала свою правоту, истина была для нее очевидна, и,— поскольку эта истина не казалась ей в условиях Новомосковска понятием метафизическим и не походила в ее глазах на пресловутый хвост неуловимой синей птицы, — она верила твердо, что в конце концов добьется защиты, внимания и справедливости.

Суд, перенесенный на 30-ое января, однакоже вновь не состоялся: Меерзону опять был недосуг. Врачей, приехавших в качестве экспертов и свидетелей, судья встретил с явным недоумением.

— Ответчики ведь не явились! — сказал судья тоном, которого грустная безнадежность показывала, что ответчиков он не ждал и они не явятся вовсе, несмотря на все его, судьи, бешеные в этом деле хлопоты.

Старуха Иванова недоумевала. Давеча, в полном здравии она видела Меерзона на улице: он шел с супругой в кино смотреть тайны турецкого двора. С другой стороны, Шевченко, например, как представитель исполкома, не затруднился бы, помня о потомстве, сказать по существу вопроса еще одну речь об идеологическом крахе городского мещанства и проблеме социального переворота в странах промышленного капитала. Ведь люди живы, они квартируют напротив, через улицу...

— Наше дело вызвать, — снова сказал, храня невозмутимость, судья.

Назначенный в четвертый раз на 29-ое мая, суд не состоялся снова: не трудно догадаться, что Меерзону в мае было так же некогда, как и в январе. В утешениие старухе выдали на руки справку, в которой говорилось, что дело ее перенесено на 29-ое июня и что ей, старухе, надлежит принять меры, чтобы милиция своевременно вручила повестки обвиняемым.

Так и написали, ей-богу!

Конечно, разбор не состоялся и в июне; ничего такого нет в этом месяце, что расположило бы Меерзона в пользу советского суда. Наоборот, курортный месяц, люди на воды ездят. Вдобавок, Меерзона к этому времени перевели в Екатеринослав, и он приезжал оттуда в Новомосковск не в шарабане уже, а в автомобиле. Очевидно, что, если не допросились человека, когда он ездил в шара-

бане, из „мерседеса“ и подавно его не извлечешь. Где уж!

Но старуха ждет.

Все уже знают ее в суде, к ней привыкли в исполкоме, и тут и там ее перестали замечать, и тут и там давно сменились уже люди — она ждет покорная, терпеливая. Вот в сентябре опять будет суд, и суд обнаружит, наконец, правду; или сейчас вот, со скамьи в приемной, где сидит она, сгорбленная, дряхлая, в веревочных лапотках и латаном своем ситце, — ее позовет в кабинет вызванный кем-то из Интернационала Меерзон и попросит у нее прощения и мягко и душевно станет говорить с ней о ее щемящей обиде...

Она сидит, ждет...

Признание

Когда Пелагею Семеновну, иначе Голышину, иначе Блиниху, как звали ее на деревне, избрали в губисполком, мужики говорили, обсуждая это событие, что напрасно разводят дурости, отрывают бабу от горшка, от коровы, от полосы, что бабу теперь и ударить не посмей, а если бабу не бить — она у мужика на шее поедет, вся жизнь мужичья нарушится, захудает и развалится всякое хозяйство. Баба — как кошка, она к бою привычна: чем больше бабу бить, тем и каша гуще. Мужики сочувственно хлопали Блина по костлявому плечу, советовали, в предупреждение разлагающих начал и возможных дурных последствий, сразу же оттаскать жену, члена губисполкома, за косу, чтобы понимала, что умней мужа ей не бывать; мужики, фыркая, спрашивали у Блина:

— А что, Блин, жена у тебя теперь служилая, гляди, как арестует...

Блин парировал угрюмо и лаконично:

— Арестует, так и посидим.

Когда же Блиниха, Пелагея Семеновна, вернулась из губернии, с губернского съезда советов, привезла с собой с губернского съезда советов инструкцию о наблюдении за деятельностью местных советских организаций и пришла с инструкцией в сельсовет, —

председатель сельсовета инструкцию читать не стал, оторвал от инструкции четвертушку, скрутил ножку, закурил и сказал, пустив через ноздри дым:

— Я под бабами никогда не холил и ходить, как бы сказать, не буду. Иди ты, ради господа, откудова пришла, я делом занимаюсь: валенки обшить надо...

И когда Блиниха пришла по этому делу в волость и рассказала в волости о нуждах, о непорядках, о том, как приняли ее мужики и исполкомщики, о скуренной четвертушке от инструкции, о председательских валенках, о девушке, по фамилии Булавина, которая „у бога живет — где ночь, где день“, болеет от холода, голода и бесквартирья, а девушку теснят, и никто не хочет в сельсовете помочь ей, но сельсоветский секретарь за квартиру требует четверть самогона, — в волости волостной председатель спросил:

— А ты кто такая, нас учить? У тебя какие данные?

Пелагея Семеновна, Блиниха показала в волости газету, где значилась она в списке членов губисполкома, и инструкцию, но председатель сказал, что газетам он не доверяет, а на инструкции нет исходящего номера, без какового номера документ, как известно, законной силы не имеет.

— Пошла, пошла! — сказал волостной председатель: — мы тебя не знаем, ты умней нашего хочешь быть...

Пелагея Семеновна ушла домой, дома она плакала в бессильной и горькой обиде. Блин в раздумьи ходил по хате, пожимал недоумевающе худыми и костлявыми плечьми и поочередно сплевывал во все четыре угла. Он рассуждал:

— По этому делу надо бы тебе в самую губернию зачалить: наше дело правое, настоящее дело,

ему откроется ход. Да ну, как на подводу не отпустят, придется тогда поросенка продавать...

Потом он решительно сказал:

— Катай, все равно! Катай под поросенка!

Пелагея Семеновна взяла под поросенка подводу, но поросенка продавать не пришлось, потому что в губернии губернский председатель принял Пелагею Семеновну иначе, слушал внимательно, расспрашивал о деревне, о деревенской жизни и о ее, Пелагеи Семеновны, жизни, сказал выдать проездные деньги, написал много записок, много звонил по телефону, в кабинете угощал Блиниху сладким чаем с изюмной булкой, и обратно Пелагея Семеновна ехала на гнедой и стоялой исполкомской паре.

Но в деревне, когда собрался сход и на сход приехал получивший из деревни записку волостной председатель, — с Пелагеей Семеновной он был вежлив, но подчеркнуто сух, официален и избегал встречаться с ней глазами, — в деревне на сходе мужики говорили попрежнему, что дело это напрасное, что бабе от бога назначено у печки жить и умереть у печки, что перед бабой шапок ломать деревня не будет и что под бабой быть хрестиане несогласны.

Волостной председатель и председатель сельский загадочно молчали, а смещенный уже секретарь сельсовета кричал с места, под общий одобрительный гул, что разводится много начальства, каждое начальство надо содержать и из мужика на начальство выколачивают последний грош.

Блиниха, Пелагея Семеновна, не плакала уже и не обижалась, но, путаясь тяжелыми валенками в юбках, она взобралась с трудом на помост, заговорила — говорила горячо, страстно и бессвязно. Она вспоминала времена, когда работала на кирпичном заводе, по четырнадцати часов в сутки грузила, надрываясь,

тяжелые кирпичи, и десятник на заводе был несочувственный человек, не отпускал родить — родить она забрела в заводский досчатый клозет, родила и упала в клозете, обливаясь кровью; родила всего двенадцать детей и девятерых снесла на кладбище; дети мерли от холода, голода, недоедания и оттого, что некому и некогда было за ними ходить; она рассказывала о циничной и беспощадной хозяйской кабале на заводе, когда за гроши выжимали на каторжных заработках из людей последние силы, последнее здоровье, когда хозяйские сынки в правоведских расшитых мундирах ходили на завод выбирать красивых девок и приказчики услужливо посылали девок на ночь во флигеля к панычам, а редких ослушниц без расчета выгоняли с завода, и невозможно и негде было искать закона, защиты и справедливости; Пелагея Семеновна рассказывала о всей своей жизни, о прошлой жизни сотен и тысяч бесправных, забитых, нищих и озлобленных людей, которые веревочкой завивали неизбывное свое горе.

Она говорила, дыша тяжело, задыхаясь, выкрикивая страстно бессвязные, но полные глубочайшего и сокровенного смысла слова, что впервые за свою жизнь, долгую и мучительную, она увидала просвет, — и нельзя теперь закрывать ей и сотням и тысячам других женщин глаза старой и мрачной повязкой, потому что женщина тоже тянется к свету, она тоже хочет жить и строить жизнь, думать и чувствовать, как живет, думает и чувствует и строит новую жизнь вся страна. Блиниха, Пелагея Семеновна, говорила, что она не начальство и не начальница, но выбранный селами и деревеньками свой, мужичий делегат по контролю и управлению, что шапок ломать перед нею и перед всеми, кто избран заводами и деревнями, нельзя и ненужно, потому что шапки ломали перед

земскими и исправниками, а исправничьи и земские времена умерли безвозвратно; что жалованья она не требует, отказывается от жалованья, но хочет, чтобы понимали и признавали, чтобы уважали ее и ее работу, ее право на работу, чтобы в эту работу вошли все, кто своими руками хочет строить просветленную жизнь.

И, вероятно, были понятны и близки ее несвязные слова, было в них что-то неслышанное еще, еще непонятное и волнующее; вероятно, до самого сердца, до самых глубин человеческого духа доходили эти горячие слова, потому что затих, застыл в напряжении огромный мужичий сход, и светлели лица, и десятки рук протянулись к ней, когда, пошатываясь, она сходила с помоста, и десятки голосов говорили ей наперебой ласковые, сочувственные слова.

... О сходе в деревне составили пространный протокол, и протокол, по общественному приговору, передан был Блинихе на утверждение. Блиниха, Пелагея Семеновна, утвердила его и впервые расписалась на протоколе, признанная деревней, как член пензенского губисполкома.

Мертвые слезы

Осенью, после третьего Спаса, в день, когда старики таскают на погосты поминальный мед в глечиках и священной водицей с молитвою кропят лошадей на пруду, — заболела неизвестною и странною болезнью Дарка, торфушка, дочь старого Чумака, который жил одиноко в выселках у ставка. С вечера она жаловалась на странную ломоту во всем деревенеющем теле и улеглась в каморе, прикрывшись овчиной, раньше чем влезли на нашест тощие и общипанные Чумаковы куры. Старик Чумак слышал ночью, как ворочалась она беспокойно и срывалась с топчана, всхлипывая жалостно и бормоча бессвязные слова; он разбудил старуху, и старуха, почесываясь и крестя зевающий рот, пошептала над Даркой в каморе и у порога поплевала, выходя, как надобно, через правое плечо. На утро Дарка не приняла пищи, но, взглянувши тоскливо на мать, закрыла тотчас ввалившиеся, мутные глаза и уснула тихонько, вздрагивая часто и беззвучно шевеля пересохшими губами. Старуха сказала: „Спи, доченька, Христос с тобой“ и, засмыкав подолы, пошла доить коровенку, которая жевала со скуки опавшие листья во дворе.

Дарка проспала напролет почти двое суток, она осунулась, пожелтела, затихла и лежала на топчане неподвижно и безмолвно, как умершая: поднятая

кем-нибудь рука ее безжизненно падала вниз, дыхание было редко, неслышно и неприметно; и она не ответила ничего и не пошевельнулась даже тогда, когда испуганный старик, сложивши в рупор шершавые ладони, над самым ухом у нее протяжно стал выкрикивать, как кричат на речке, на перевозе, ее ласкательное имя.

К вечеру позвали бабку Вару, которая варила самогон и прославлена была наговорами и искусным гаданием на косточках и бобах; и баба Вара хлопотала в каморе всю ночь, до петухов, с третьим криком которых прекращается, как известно, всякое волшебство на свете. Она стучала долго своими чудесными косточками, веером разложив их на сковородке, мешала для чего-то и пересчитывала в различных арифметических комбинациях тридцать три боба в холщевом мешке, таскала на веревочке вокруг кровати связанную и кричавшую дико черную кошку. Потом она велела вздуть огонек в трубе и варила в медном ковше различные божьи травы: папоротник, сивец, багульник и пышму-траву, которую надобно пить человеку, когда затоскует сердце. Но Дарка ничего не пила из ковша, зубы у нее были сцеплены, и пахучий настой пролился мимо, расползшись по холстам зловещими зеленоватыми пятнами.

Тогда бабка Вара ушла за печку, посмотрела в чугун с водой и сказала, что девку б л а з и т б е с, что все равно она не в ы п а х а е т с я и надобно, благословясь, послать за попом. Старуха, одевшись в чистое, села плакать под образа. Чумак же, вздыхая покорно и тяжело, пошел, накинув валеную свитку, в ц в и н т о р, в ограду, где жил поп.

Поп, отец Евтихий, запросил, ломаясь, за отпевание и похороны несуразную плату в виде рябенькой Чумаковой телки; потом, торгуясь и спустивши, он точно оговорил количество гороха, сала и круп за

божьи свои труды и, воздевши жестяные очки на нос, аккуратно внес товарные эти категории на листок разграфленной бумаги, на котором Чумак, в знак согласия, поставил огромный кривой крест.

Дарку, уже не дышавшую как будто, обмыли и перенесли из каморы в избу; она лежала под образами, восковою прозрачностью заостривишхся черт действительно похожая на мертвеца, но странно было то, что руки, сложенные на груди, расходились тотчас же и падали, из-под прикрытых опухших век текли медленные крупные слезы и тело, потеряв теплоту, не костенело и не застыло, одеревенев, как это бывает у покойников. Бабы, суеверно крестясь, подвязали ей руки шпагатом, положили медяки на глаза, и поп, помахав пустым кадилом, пропел торопливо, глотая слова, о море житейском, воздвизаемом зря напастей бурею; он спешил, потому что не был уверен в Даркиной смерти, и, отпевая, обеспокоенно косился все время на сенцы, где старуха пересыпала в его мешки горох и крупы. Когда ему указали на пустое кадило и неприличную поспешность частословного пения, он, разоблачаясь, сказал:

— Как заплатили, так и отпел. Тащите прочь.

Поп ушел, прихватив мешочки; в хату же Чумакову и в усадьбу набился, прослышавши о чудесных мертвых слезах, народ; бабы шептались и сокрушенно качали головами, мужики находили эти слезы странными и подозрительными, потому что плакать после смерти может только душа, души же у женщины нет, о чем сказано в двенадцати писаниях. Они рекомендовали поэтому не медлить с похоронами и, чтобы дальше было от греха, окропить предварительно водицей с Афона и гроб, и могилку на погосте, и самое торфушку, по общему признанию осрамившую стариков загадочными этими мертвыми слезами. Чумак, действительно, был скон-

фужен, и он чувствовал враждебность в толпе, в которой люди, сначала сочувствовавшие его горю, внезапно стали сторониться его. Он тыкался суетливо и растерянно по двору, недоуменно что-то бормотал и, точно защищаясь, втягивал непокрытую голову в худые костлявые плечи. Потом он накинул зипун и, попрежнему вздыхая, покорно пошел в лесок, к лесному человеку, ладить гроб.

К вечеру с болот приехал Андрюшка-комсомолец, о котором в деревне говорили, что Дарка гуляла с ним на торфах. Бабы стыдили его, и старуха просила не делать сраму, но он губами в нескольких местах пощупал тело покойницы, согнул и выпрямил снова податливые ее ноги в коленах и, приложивши зеркальце к ее полураскрытым губам, сказал, что хоронить ее нельзя, потому что в уезде появилась странная сонная болезнь, о которой читали лекцию на торфах, и—возможно—Дарка спит, а не умерла, почему надобно, оставив ее в покое и тишине, съездить сейчас же за доктором на участок.

Мужики выслушали его молча. Они делали вид, что то, о чем он говорит, совершенно не интересует их, и равнодушно смотрели в сторону: это значило, что слушают они только из приличия и останутся, что бы здесь ни говорилось, вполне непоколебимы в прежнем своем убеждении относительно нечистых Даркиных слез.

Так как ехать за доктором было некому и лошади у всех оказались внезапно хворыми либо угнанными на пастьбу в далекие просеки, Андрюшка, с трудом подавляя злобу, которая стеснила грудь, за семь верст пошел на участок пешком. Он не шел собственно, а бежал — и все время, пока видна была околица, смутно ощущая тяжесть и страх, тревожно оглядывался на деревню.

Когда вечером, в темень, они подъехали с врачом в труской двухколесной беде к ветхой хате Чумака,

там шли уже поминки: старуха пекла на конопляном масле лепешки из гороха и толкла картофель со шкварками, мужики, морщась и крякая выразительно, поочередно хлебали из общего огромного ковша красный бурачный самогон.

Старик Чумак заплакал, увидев доктора, тяжелыми, пьяными слезами; он опустил бессильно на стол взлохмаченную голову и сказал, с трудом ворочая языком:

— Схоронили доченьку...

... Андрюшка с доктором при фонаре всю ночь разрывали на погосте, за овражком, свежую могилу. Они работали бешено, без передышки, так что платье насквозь взмокло от пота, кружились головы и в глазах стояли расплывающиеся красные круги. Им казалось все время, что они слышат возню и стоны под землей: их начинало знобить, и делались непослушными ковши и заступы в дрожащих руках.

Могила была глубока, и откопать ее удалось только к свету. Дарка лежала в гробу, разметавшись, удушенная, с неузнаваемым, перекошенным и сплошь покрытым засохшей кровавой пеной лицом; она порвала шпагат, которым были связаны у нее руки, и скребущими судорожно пальцами исцарапала себе шею и обнаженную грудь. Вид ее был настолько страшен, что доктор, едва приподнявши, поспешно захлопнул крышку на гробу. У него тряслись губы и подбородок, и, когда, вылезши из страшной этой ямы, он сел на пеньке писать записку следователю в город, карандаш в его прыгающей руке долго выводил сначала на бумажном клочке какие-то странные и нелепые иероглифы...

Конная дура

Товарищи прислали мне из провинции два документа: стенограмму доклада некоего начстройупра „О дефектах плановой перспективы и конкуренции госорганов“ и затрепанные листки копеечной рабочей тетрадки с записью этого доклада карандашом.

Доклад читан был начстройупром на огромном делегатском собрании строительных рабочих целого района, запись производил товарищ Матвей Куйдых, делегированный ребятами на собрание, как человек бывалый, поживший в немцах, тонкий ценитель и признанный знаток лингвистики. Как знаток лингвистики, он избран был потому, что слов „о дефектах плановой перспективы“ на постройке никто не понял и пункт этот вызвал общее сомнение загадочностью своего содержания. На постройке решили, что это будет иностранный доклад.

Доклад оказался русским. Товарищ Матвей Куйдых, — как рассказывает он в письме, — старательно записывал этот русский доклад в течение десяти минут, он пыхтел, прикусивши язык, глаза его наливались от напряжения кровью, онемевшее тело бросало то в жар, то в озноб, и по лицу катился обильный холодный пот.

Я читаю стенограмму русского доклада начстройупра:

„Товарищи! Конъюнктура рынка в настоящий момент аналогична конъюнктуре прошлого года. И задача координации, увязки производственных перспектив, вставшая перед нами во всем своем колоссальном значении, побудила нас к созданию при стройупре технбюро, о деятельности которого я и буду иметь честь вам доложить. Надо отметить, что точные функции бюро, организация которого вначале иронически встречена была в высших инстанциях, как мера паллиативная, до сих пор не определились, но они многообразны, товарищи, и за короткий срок существования бюро завоевало уже себе общее признание: мы добились санкции и субсидии. Я стеснен регламентом, и ориентирующий мой доклад будет носить поэтому несколько конспективную форму: задачи, стоящие перед нами, я постараюсь сформулировать в той конкретной плоскости...“.

Не будем воспроизводить записи товарища Матвея Куйдых целиком. Она начиналась так:

„Товарищи! Конная дура рынка в настоящий момент одноличная конной дуре прошлого года...“.

Она продолжалась конспектным изложением задач координации, производственных перспектив и функций бюро, как организации, получившей уже санкции и субсидии (о чем имел честь говорить стесненный регламентом начстройупра), продолжалась в передаче, приближающейся по стилю и точности к прошлогодней конной дуре, и закончилась на десятой минуте выражением, не оставляющим сомнения в чисто славянском своем происхождении: выражение не попало в тетрадь, но в устах Матвея Куйдых прозвучало вполне отчетливо.

. . . .

Я не хочу выводить никакой морали, но имею предложение и конкретное и конспектное, сформулированное и отнюдь не паллиативное: хорошо бы размножить конную дуру товарища Куйдых и, купно со стенограммой начстройупровского доклада, прилагать ее в качестве „ориентирующей“ инструкции к путевкам товарищей на русские доклады.

■ ■ ■ ■ ■

Шпионаж в Аксенове

У Куприна описан случай с просвещенным администратором, обнаружившим в бумагах некоего вольнодумного студента листок с таинственными, напоминающими код Морзе, иероглифами.

— Это что, сударь? — подозрительно спросил администратор, разглядывая бумажку на свет.

— Это ямб — беспечно ответил вольнодумец: — так сказать, формула стиха.

— Тэк-с. Говорите — ямб? Понятно. Богуцкий, приобщи.

И ямб подшит был к делу, как вещественное доказательство нигилистического брожения в умах российского студенчества.

Насколько легализован в уездном быту этот ямб сейчас, мы не знаем.

Темное это дело — ямб. Хвостик, точка, завитушка: поди-ка, разбирайся, какое в них классовое содержание.

Еще того темней — наука археология. Сидит, например, человек в кургане, роется, как крот, и ищет якобы пороховницы погребенных во стане Золотой Орды. А вот, говорят, если землю насквозь просверлить, внизу окажется Америка, откуда в дыру может хлынуть ку-клукс-клан или иностранный капитал. И кто же будет отвечать? Предвик.

— Куда же, скажут, ты смотрел, какая же ты власть на месте, раз под носом у тебя до Америки досверлились?

Вот какая ситуация щекотливая.

Осенью этого года советская археологическая экспедиция во главе с профессором МГУ П. А. Куфтиным, имея открытый лист Главнауки и множество всяческих удостоверений на руках, прибыла для исследования касимовских курганов в Меленковский уезд, Владимирской губернии.

Раскопки на курганах и породили впервые в скептическом сознании тов. Зайцева, предсельсовета деревни Аксеново, указанную выше блестящую догадку о преступной связи советской археологии с американским капиталом. И смутные опасения превратились в зловещую уверенность, когда археологи, явившись однажды в деревню и разыскав самую темную избу на окраине, наглухо заперлись там, имея при себе таинственный черный ящик и подозрительно мигая внутри красным глазом фонарика. Оставшиеся снаружи, не таясь, тревожно кричали под окнами:

— Ну, как, зарядили?

— Зарядили! — глухо донеслось изнутри.

Предсельсовета понял, что надвигается катастрофа и настал момент решительных действий. Обойдя избу с тыла с понятыми, он окружил неожиданно изумленную экспедицию; черный, таинственный ящик, походные сумки, приборы на треножниках, лопатки и иные предметы коварной связи с американским ку-клукс-кланом незамедлительно были конфискованы, и археологи ввергнуты в узилище, охраняемое двойным и вооруженным огромными осиновыми дубинами караулом...

Началась проверка документов. Открытый лист Главнауки и удостоверения антропологической предметной комиссии МГУ были квалифицированы сельсоветом, как грубейшие фальшивки, ибо подписи председателя и секретаря оказались сделанными

чернилами одного цвета и чересчур разборчивыми: так и в волости даже не подписывают, не то, что в Москве! Фотографическая сущность загадочного черного ящика также признана была фашистским измышлением, ибо на негативе, извлеченном из кассеты, ничего не было видно на свету, кроме расползавшихся мутных и злостных пятен.

То обстоятельство, что один из участников экспедиции по документам оказался врачом, окончательно испортило дело: где же ваши инструменты, где ваши порошки и пузырьки, гражданин, называемый врач?!

— Шпиёны, шпиёны! — сказал предсельсовета и грустно покачал головой. — За что вы продаете республику Советов?!

Археологию заперли снаружи огромным амбарным замком и послали гонца в волость за милицией. Прибывший во всеоружии вороха бланков и анкет милиционер к заявлению насчет касимовских курганов отнесся также вполне скептически: никаких курганов! Бабушке своей расскажите!.. Честный человек по темным избам заряжать не будет...

Решили по этапу отправить археологию в распоряжение начальника районной милиции; там разберутся, чтó есть антропология.

Путешествие однако не состоялось, потому что, после отправки ряда телеграмм в Москву, шпионов, по указанию свыше, пришлось освободить.

Их выпустили неохотно, и предсельсовета оскорблен был центральным распоряжением в лучших своих чувствах: освободить легко, да в Москве-то, чай, не видели, как они тут заряжали.

Он дважды ходил на курганы взглянуть, не лезет ли в просверленную дырку чего из Америки. Америка однако, по непонятным причинам, медлила...

Поросячье дело

У Чехова описан председатель суда, который любил вслух помечтать в совещательной комнате о поросенке под хреном, о растегайчиках и сильфиде, купающейся в бассейне. Сильфиду, как идеологически вредный элемент, оставим в стороне; о поросенке же председатель рассказывал мечтательно члену, ожесточенно ковырявшему после стакана холодного судейского чая зубочисткой во рту:

— Вы представьте: поросеночек, этакий молочный шельмец, с кашей, и в зубах у него сельдерей веером... Вы заливаете соусом, капаете лимон, корочка, представьте, розовенькая, она хрустит...

Член, терзая десны зубочисткой, оживленно вставлял голосом, в котором звучали нотки умиленного волнения:

— С поросенком померанцевую надо пить: графинчик, знаете, пузанчик такой, холодный, потный, и с него слезы капают... О-о!

Говорят, о вкусах не спорят; можно, конечно, предпочитать кулебяку по-московски или карасей в сметане, но напрасно думают в Чебоксарах, что нежность к молочному поросенку есть вредный уклон в идеологическое перерождение: „корочка, представьте, розовая, она хрустит...“.

Поросенок, которого мы имеем в виду, был типичным продуктом взрастившей его тупорылой среды; это был рябой и тощий сосунок, он весил едва четыре фунта, но, выходя по различным причинам из душевного равновесия, испускал визг столь высокого напряжения, что шершавые крестьянские лошаденки шарахались от него в сторону о плетни и взволнованно ставили перпендикуляром жидкие хвосты.

Бабы принесли его в волость, в Салавир, в нижегородскую деревеньку, в мешке под полою и, встретив в улочке товарища Вострилова, который работал в вике и только накануне выдавал им земельные справки, — спросили нараспев:

— Извиняйте, дорогой, где вы квартируете?

Петр Иванович Вострилов, член партии, недавний красноармеец, доброволец-фронтовик, заметив у баб нечто хрюкавшее и копошившееся в мешке, насторожился и ответил уклончиво:

— В исполком приходи, красавица, а живу я неопределенно, между небом и землей, за версту с чем-то.

Бабы в исполком не явились, но через час Вострилову принесли из дома, от жены, тревожную записку:

„Пришли две женщины с поросенком, оставили и ушли. Странно, что это значит?“.

Выругавшись, Вострилов побежал домой. Жена, как всякая женщина, была жалостлива и склонна к идиллии: извлекши сосуна из мешка, она кормила его бубликом, размоченным в молоке. Поросенок счастливо хрюкал и тыкался мокрой мордой в ее ладонь. Петр Иванович Вострилов, взяв поросенка за ноги, — отчего последний испустил потрясающий, похожий на визги ярмарочного чортика вопль, — вновь сунул его в мешок, вышел с мешком на улицу и остановился на перекрестке, терзаемый поросячьей

руладой, в состоянии крайней растерянности и недоумения: поросенок, конечно, тощ, он безобразен в жесткой, сморщенной на выперших костях шкуре, и невозможно позариться на этакую дрянь, — но вопрос о качестве продукции применительно ко всякой взятке есть, как известно, категория второстепенная. Что же делать теперь с этим четвероногим доказательством деяния, караемого сто четырнадцатой статьей неумолимого УПК?

В итоге всяких сомнений и размышлений решивши передать поросячье доказательство по партийной линии, тов. Вострилов снес сосуна в волком. В волкоме много смеялись, всесторонне щупали поросячьи кости и даже таскали сосуна, в видах определения характера, за хвост: известно, что злые свиньи в таких случаях норовят, извернувшись, зубами вцепиться в палец.

К концу же занятий, когда Вострилов ушел домой, поросенок, по единодушному ходатайству секретариата, был изжарен сторожихой во дворе на треножке и коллективно уничтожен аппаратом а-ляфуршетт. Пусть первый, кто без греха, бросит в аппарат камень! Поросенок был бесхозяйный, и все недоумевали относительно дальнейшего его продвижения: привязанный к столу в агитпропе, он злостно срывал потрясающим визгом единый политграмотический план, а людям хотелось есть и от запахов жареного, шедших от треножника со двора, невыносимо сосало под ложечкой. Не забудьте корочка розовая, она хрустит... Словом, тощий поросенок был обглодан, что называется, до ручки.

Через месяц после этого Вострилова вызвали в комиссию, проверявшую в округе деревенские ячейки.

— От кого и за что вы получили рябого поросенка? — спросил председатель.

Чувствуя, как бросает его в жар и в холод попеременно, Вострилов путанно и заикаясь стал излагать поросячьи события в их хронологическом порядке. Но председатель остановил его, холодно блеснув стеклами американских очков:

— Товарищ, ближе к теме: нас интересует поросенок как таковой.

Постановлением комиссии товарищ Вострилов, Петр Иванович, в рассуждении рябого поросенка, безоговорочно исключен был из рядов ВКП...

... Конечно, ЦКК, куда перешло дело, восстановила Вострилова, и самая история поросячья доставила товарищам несколько веселых минут. Но она прекрасно учит осторожности и более серьезному подходу к вещам: надо думать, у Вострилова, на год вытесненного поросенком из партийных рядов, навсегда останется в памяти злополучное это гоголевское дело. Шутка ли, чего натворил тощий сосун!

Человек, которого не заметили

Когда в 1901 году умер в Феодосии колоссальный художник, профессор и лучший русский маринист, Иван Константинович Айвазовский, галлерея его картин, согласно желания покойного, перешла городу. Хранителем галлереи остался сторож Фома Игнатьевич Дорменко, служивший у художника с самых ранних детских лет.

Едва ли мог простой и бесхитростный этот человек ценить картины Айвазовского с точки зрения той совершенно исключительной художественной силы, которая заложена была в полотнах, стяжавших художнику мировую неувядаемую славу; их культурную ценность он понимал скорее инстинктом; но каждая из этих картин, репродукции с которых, известные повсюду от Норд-Капа до мыса Горн, тысячами расходились в Европе и шли тысячами за океан, — была для него родным и одушевленным предметом. Большинство этих полотен оживало под рукою Айвазовского на его глазах и даже при его участии, потому что он мешал краски, чистил и, случалось, грунтовал холст. Он знал в них каждую линию, каждое пятнышко, каждый штрих и любую из них мог бы определить на ощупь в абсолютнейшей темноте.

Случалось, Айвазовский, положив мазок, спрашивал у него, недоверчиво впиваясь сощуренным взглядом в холст:

— Ну, как, верно?

И он отвечал неизменно, искренне восхищаясь красками, изумительные тона которых он мог бы отличить теперь уже в тысяче других картин:

— Натурально, Иван Константинович.

Когда умер Айвазовский, он почувствовал на себе огромную ответственность за сохранность этих картин для страны, достоянием которой он считал наследство художника; долгие годы он хранил галлерею с любовью, с какой может хранить человек только самое дорогое, что есть у него в жизни. Ни одна пылинка не села за эти годы на полотна, не исчез, не затерялся и не был попорчен временем ни один эскиз из сотен тех, которые лежали, окутанные шелком, в папках, в бюварах и под стеклом. По традиции, которая еще при жизни Айвазовского установилась в его доме, приезжие могли осматривать галлерею в любое время дня: старик никогда не знал покоя, встречая и провожая одну партию за другой.

В 15-ом году, когда „Гёбен" обстрелял побережье, пришло первое испытание: город эвакуировался в панике, люди бежали из Феодосии, бросая имущество, вглубь полуострова. Подобно капитану, который позже всех оставляет палубу бедствующего корабля, Фома Игнатьевич вышел из галлереи не раньше, чем последняя картина была погружена на тачанку, под обстрелом увезшую дорогие полотна в Сориголь. Он спасся чудом, потому что снаряды изрыли вдоль и поперек все щоссе, по которому неслись, закусив удила, обезумевшие от треска и огня лошади. Он не знал, что́ сталось с семьей, затерявшейся в людской веренице: но картины были спасены. Это он знал.

Потом наступили вскоре беспокойные и мятежные революционные дни, и десятки раз переходил из рук в руки расстрелянный и измученный город на полуострове, которому суждена была историей тяжкая роль последнего оплота агонизировавших реакционных сил.

Город занимали с боями, чередуясь друг с другом, белые, зеленые, партизаны, немцы, интервенты и мелкие, неизвестных „убеждений", банды с гор. Все они более или менее осводомлены были о богатстве, хранившемся некогда в доме Айвазовского, и бесконечно мучили старика допросами, угрозами, тюрьмой и побоями, требуя выдачи картин. Зеленые едва не увели его в горы; дуло револьвера не раз подымалось в деникинской контр-разведке вровень с его головой, и смерть вставала здесь не раз перед его мигающими, светлыми глазами; немцы били его тесаками, называли „каналий" и грозили военно-полевым судом. Но старик был упорен и тверд, он сносил терпеливо ругань, побои и издевательства, кланялся покорно, просил пощадить „безвинную душу" и всем говорил, что картины увезены на „Гёбене" еще в 1915 году. Потом приходили к нему какие-то люди с переводчиками, они курили пахучие сигары, носили великолепные галстуки-электрик и цедили слова сквозь зубы с небрежностью, делавшей очевидной наличность большой и устойчивой валюты в карманах шикарных их, стянутых в талии, пиджаков. Они гарантировали безопасность и предлагали за картины деньги, которые даже во сне никогда не мерещились старику.

Старик кланялся опять, прижимая руки к сердцу, и умоляюще говорил:

— Господи, да нету ж их! Да я голодую, вы видите, на одном горохе живем: рази б я не продал, если б они были? Рази я себе враг? Да когда их нету...,

Но на самом деле, любовно обернувши картины тряпьем, газетами и соломой, он в ящиках закопал их в сарае, до самого потолка навалив поверх старый мебельный хлам; те же, которые не вошли в ящики, он в сверточках снес знакомым рыбакам на побережье. Он жаловался рыбакам на скверные времена и просил сохранить бельишко от обысков и реквизиции...

Когда эвакуировались немцы и были истреблены банды в горах и ушел на уцелевших судах деникинский штаб в Турцию, когда все улеглось понемножку и установилось, — в начале 1923 года Дорменко явился в местный исполком и попросил по описи принять от него галлерею Айвазовского. В исполкоме ахали, жали старику руки, называли его героем революционной страны. Картины приняли от него по счету: все было в полнейшей сохранности, и он сдал даже когда-то преподнесенные художнику палитры и чашки из серебра.

Снова открылась галлерея, и снова утвердился старик, сохранивший ее для народа, на обычном местечке у дверей, принимая и провожая вереницы новых и новых людей.

Но в эти тяжкие годы он состарился совсем и одряхлел, силы стали уже покидать его, сбережения давно были истрачены, и лишние вещи распроданы и выменены на хлеб. С семьей в шесть человек, на жалованьи в двадцать рублей, приходилось теперь невмоготу; он обратился за помощью к различным лицам и учреждениям. Он просил обеспечить его семью хлебом; право его на такую поддержку казалось ему бесспорным: галлерея, которую он спас для Республики, оценивалась специалистами почти в четыре миллиона рублей, и она давала сейчас свыше пятнадцати тысяч дохода в год. Неужели человек, с риском для жизни сохранивший

такое богатство для народа, не заслуживает того, чтобы ему обеспечен был кусок хлеба в старости?

В одном месте ему сказали, что ставка сторожа предусмотрена профсоюзом и, стало-быть, больше получать он не может, в другом месте его спросили, нарочито подчеркнув обидное, липкое слово:

— Вы, что же, лакеем служили у Айвазовского?

Оскорбленный старик ушел, не ответив ни слова, и взял заявление обратно. Он стал рисовать, обученный этому у Айвазовского, морские виды на дощечках и по полтиннику продавать их, когда находились покупатели, на бульваре.

Тянутся трудные дни...

Горько становится, когда читаешь незатейливые строки маленькой этой и простой истории: до чего же, подумать только, не умеем мы ценить и помнить людей! Пожалуй, никто и не заметил старика на бульваре...

На гидре

Полет на гидроплане — червонец.

Мужики, человек двадцать из одной губернии, в толпе у Добролета выбирали, сложившись, делегата на полет: чтобы полетал и рассказал. Выбрали мужичонку, с виду самого замухрыстого, в лапотках. Долго отсчитывали мятые рубли, а мужичонка топтался у лестницы, тревожно поглядывая на стальную птицу.

Заплатили.

— Господи, благослови! — сказал мужичонка и полез на машину, обдирая лапти об алюминий.

Мужики кричали с берега, махая длинными, как мельничные крылья, руками:

— Глаза-то возьми в руки! Ежели в окна не видно, ты в дырья смотри, вниз!

— Подрядись с хозяином: по дворам не развезет ли?

Мужичонка сидел в каюте и, хотя птица стояла еще привязанной к пристани, держался напряженно обеими руками за поручни.

Подошла купеческая пара. Купец икнул и сделал в воздухе ручкой.

— Полеты Добролета. Не знаете, почтенный, о стоимости?

— Червонец.

— Кусается птица.

— Вас, купец, не укусит.

— А вы считали в чужих карманах?

Купец подумал, засопел носом и сказал:

— Разве слетать?

Жена ухватила за мясистую руку.

— Что ты, что ты? Чай семейный человек...

Вокруг смеялись.

— В каюте — как в гостиной, — сказал матрос: — сядешь в кресло, кум королю.

Купец отстранил жену.

— Лечу. Только не расшибемся, почтенный?

— Авось.

Купец влез в каюту, уселся грузно и сказал мужику:

— И ты здесь?

— А иде же мне? На фост не сядешь...

Жена бегала по пристани и кричала купцу в ладоши:

— Пощупай: крестик-то на тебе? Господи...

Красноармеец рядом хохотал, присев на корточки; она сплюнула, утирая рукой слезу от волнения.

— Чего гогочешь? Человек семейный, сырой и от своего характера, может, на всю жизнь пострадает... Ты-то летал, что ли?

— Летали и мы, — сказал красноармеец. — Под Варшавой в пятнадцатом году по шестьдесят верст в день летали, сапоги растеряли...

Пилот включил, мотор загудел ровно и сильно, обдавая толпу брызгами. Птица двинулась, рассекая воду.

Купеческая жена вдруг закричала истошно, заметавшись по пристани:

— Червонцы-то... Червонцы-то увез, голубчики мои!..

— Полетели червонцы, — сказал красноармеец: — ау!

Она кричала, махая рукой отходящей машине
— Ксенофоша! Ксенофоша-а!
— Нет, уж пропало,— снова сказал красноармеец, подмигивая глазом: — полетел Ксенофоша.
Но Ксенофоша не полетел. Не взявши разгону, птица повернула назад и снова подошла к пристани. Купец вылезал поспешно из каюты, левой рукой держась за поручни, правой кладя на широкую бороду частые мелкие кресты. Жена, уже сияющая, тащила его вниз. Механик хохотал, размазывая по лицу слезы и масло. У пилота лицо было в красных пятнах. Пилот кричал сердито:
— Отдайте ему деньги, ради бога! Не могу я с ним ехать, еще выпрыгнет на ходу, ну его к чорту...
— Ну, и вас туда же с вашими аппаратами! — сказал купец, отряхиваясь. — Как загудело, словно горохом по противню, и в уши. В кресле не усидишь, как будто об это место уголья тушат...
Жена вела его за руку к кассе.
— Ну, и слава богу, и слава богу: захочется прокатиться, на Страстной извозчика возьмешь, по земле...
В толпе хохотали:
— Слетал? Тоже летчик.
— Купец, что там видели, в небе?
Купец из кассы получил назад червонец и пошел степенно, твердо ступая тяжелыми ногами: земля...
Мужики кричали делегату, высунувшему голову из каюты:
— Ну, как? Может, вылязишь?
— Ничиво, — сказал мужичонка. — Слятаю.
— Ну, ляти. Сигать будешь — на огород куда сигай, мягче...
Снова загудел мотор. Птица разбежалась по воде, отделилась от глади — все выше, выше — и черной точкой исчезла через несколько минут за поворотом, уже за десяток верст...

▭▭▭▭▭

Редактор

Редактором он был только во-первых. Во-вторых же, в-третьих, пятых и десятых — он замещал несуществующего в природе завагитпропа, заведывал наробразом, партийной школой, отделениями Роста и Госиздата одновременно, в четырех комиссиях председательствовал, в восьми состоял непременным членом и был обязательным участником и неизменным докладчиком пленумов, собраний и совещаний, которым не было тогда естественного числа. Словом, что же говорить о нагрузке — в те годы она была известная: человек тащил вдвое больше того, что может тащить лошадь.

Недавно в одном из наших юмористических журналов я видел рисунок: слева загруженный до макушки партиец, справа лошадь, которая валится, изнемогши от тяжести, в оглоблях.

Партиец говорит:

— Я же вам не лошадь, товарищи, помилосердствуйте!

Лошадь резонно возмущена:

— Куда грузите, я же вам не партейная!

Партийные люди, как сказано, тащили тогда на себе вдвое больше, чем беспартийные лошади; этих последних, дополнительно к соломенной резке, изредка подкармливали все же овсом, наш же ответственный

и трижды усиленный паек, с четвертушкой мякинного хлеба, был строго ограничен микроскопической щепоткой комсы, одной коробкой безусловно тлеющих спичек „марксист“ и двумя костяными пуговицами в день. Эти пуговицы мы собирали всю неделю; по воскресеньям на базаре бабы давали за них по три яйца от дюжины. Однажды, в дополнение к пуговицам, выдали по паре носок из губодежды. Носки были загадочны. В левом — отверстие приходилось, как надобно, против пятки, в правом же оно находилось в самой пятке: бабы покупали только левые, по пониженной, в виду брака, цене.

Жить было трудно, нужно было устраиваться, чтобы не голодать и писать в опродкомгуб секретные дружеские записки. Иные писали записки, другие получали комсу и пуговицы в шести местах одновременно, третьи внезапно заболевали трудно излечимыми болезнями, при которых показан длительный курс соляных ванн: соль ценилась, как известно, на вес благороднейшего металла.

Жилин, — его звали Алексей Ильич, — этого не умел, и ему попросту некогда было болеть соляною болезнью и писать продовольственному комиссару записки о снабжении. По профессии он был токарь, токарный мастер с крупнейшего приднепровского завода на юге страны; он прожил тяжелое сиротское детство в нищете и колотушках и тяжелую, полную лишений и обид, тюремных отсидок и гонений за образ мыслей и беспокойный характер, жизнь. Эта жизнь воспитала в нем ненависть пролетария к людям, на протяжении десятилетий угнетавшим обездоленный и приниженный народ, и сделала из него закаленного партийного бойца; странным образом в нем сочетались, на-ряду с этим, исключительна ямягкость и задушевность, скромность и конфузливость человека, относительно которого никак нельзя было подумать,

что за плечами его повис такой огромный и тяжелый жизненный груз, такой груз страданий, способных опустошить человеческую душу и без остатка выхолостить человеческое существо. Он был отзывчив к чужому горю, необычайно как-то ласков и внимателен к людям и расточал последние крохи вконец расшатанного здоровья, последние крохи убывавших, кончавшихся сил; как свеча, на глазах он таял в работе, горел в работе, как в лихорадке, наш милый товарищ, наш редактор Алексей Ильич. Когда-то, на сходке у Днепра, казаки прикладами отбили ему легкое, он часто кашлял мучительно, захлебываясь и держась руками за грудь, и больно было смотреть на бескровное его, покрывавшееся влажной испариной лицо.

— Вам отдохнуть надо, вы сдаете, — говорили товарищи.

На секунду он задумывался, улыбался милой своей, ласковой и точно сконфуженной улыбкой:

— Да, конечно, всем надо. Вот перемелется немножко, войдем в русло, а сейчас... Кстати (!) бюро сегодня в шесть? Я заспешил...

Спешил он, кажется, всегда. Во время русской революции земля продолжала вращаться, к сожалению, с той же неумолимой педантичностью, что и до нее, и сутки попрежнему насчитывали двадцать четыре точнейших часа; это был явный и досадный недочет, потому что суток хронически нехватало. Шутя редактор говорил, что он удлиняет их, вставая ежедневно на час раньше; жадно и безжалостно он резал минуту за минутой от положенных на еду и отдых скудных часов, на ходу жуя хлебную свою осьмушку и частенько коротая остаток ночи на ящике в типографии, где приходилось после часу, когда гас свет в городке, руками вертеть тяжелое и немазанное машинное колесо: вертел частенько и он. Помнится,

всё мечтал этот славный, родной человек о времени, когда стряпня заменится калорийными питательными пилюлями, и о будущем веке электричества, в котором по декрету упразднен будет сон: иссякла энергия, сейчас зарядят тебя из какого-нибудь этакого аккумулятора или коммутатора — и прыгай до следующего сеанса! Но аккумуляторов и пилюль не было, и не было шрифтов и бумаги в типографии, чернил в партийной школе и азбук в наробразе, не было денег, не было хлеба, не было людей и помощников. С юга наступали тогда деникинцы, каждый день нес дурные вести, и каждый лишний день взваливал на его покорные плечи всё новый и новый груз, всё новые обязанности, заботы и огорчения. С изумительным, прекрасным упорством он поднимал и нес эту непосильную ношу: вот перемелется, тогда отдохнем, а сейчас... кстати, где гранки листовки для села?

Поражала нас всех его волнующая, страстная любовь к печатному слову, к газетному, оттиснутому на синей сахарной бумаге листу. Он дрожал над этими синими аршиными срывами, он выходил из себя, когда бабы на базаре заворачивали в последнюю информацию сельди, и мучился каждым маленьким промахом, каждой ничтожной мелкой опечаткой. Помню, как сейчас, неизвестно отчего особенно досаждала нам буква „м“. Подлая согласная лезла не к месту во все колонки, возбуждая общую дружную неприязнь. С дрожью в голосе Алексей Ильич говорил, тыча карандашом в испещренный отметками лист:

— Ну, что это такое? Что это такое, скажите на милость?

Флегматичный хохол-корректор невозмутимо отвечал:

— О це? Це буква „мы“.

— Не мы, а позор, позор!

Каждую пустую брошюрку, которая попадала в руки, он обворачивал старательно, по-детски неумело загибая поля, в чистый лист, вытирал пальцы платком, чтобы не пачкать страницы, и сам, бывало, подшивал занятыми у сторожихи нитками небрежно сброшюрованные, выпадавшие листы. Он говорил, что первый признак некультурности — небрежное отношение к книге, которая есть средство объединения всех народов.

У него была жена и чудесный голубоглазый сынишка Шурка, который занимал, согласно собственной квалификации, довольно загадочный пост в губернии: он был редактор губтопа и охотно выписывал нам, когда приходил в редакцию, ордера на дрова.

Он важно, животом вперед, проходил в редакторский кабинет и взгромождался отцу на колени:

— Папа, позвони! Папа, распишись. Да папа же!

Жена говорила редактору:

— Леша, ты опять не ночевал дома, на что это похоже, правда? Опять в типографии?

Она безнадежно махала рукой, доставала из кошеля обвернутый платком горшочек с кашей, которая называлась „шрапнель“. Он ел наспех, она начинала всегда один и тот же неизменный разговор:

— Леша, поедем опять на завод. Я смотреть на тебя не могу...

Он вставал и прикрывал дверь. Потом они выходили, и жена вспоминала на пороге:

— Ну, а как же с ботинками? Ну, я ничего, а Шурка студится. Осень, холодно.

Жилин краснел, смущенно тер переносицу и говорил секретарю:

— Да, вот ботинки... Может-быть, вы того... устроите ботинки?

Секретарь был аккуратен и точен, как маятник часов. Он смотрел на Шуркины стоптанные и дырявые, взбухшие от воды башмаки и отворачивался к окну:

— Да, я устрою, конечно.

— Ну, вот и прекрасно, прекрасно. Шурка, слышишь? Будешь в ботинках редактировать твой губтоп. Ну, я заспешил...

...Поздней осенью, когда пошло уже сало по реке и замерзала рябина на деревьях и крутился в воздухе сухой вьюжный снег, мы эвакуировались из города, сдерживая у мостов наступавшую белую бригаду.

В сумерках за редактором приехала телега; в ней сидели уже и ждали его жена и ребенок. И тогда же из ревкома сообщили, что газета, во избежание паники в городе и частях, должна выходить до последней минуты. Алексей Ильич, уже в валенках и полушубке, топтался на пороге, растерянно разводя руками: не было сил выйти к ожидавшей в телеге жене.

Она ничего не сказала, заплакала тихонько. Шурка, сынишка, захлебываясь в крике и слезах, повис у него на шее. Редактор взволнованно говорил:

— Ну, не плачь, не плачь же, милый, Шурка, дорогой мой мальчик. Я же приеду, я обязательно приеду...

Телега, прогромыхав, повернула за угол. Редактор в кабинете сел править телеграммы; у него дрожал подбородок, и карандаш, прыгая в руке, чертил на листе нелепые завитушки. Он выправил телеграммы как всегда, как всегда их снесли в типографию, но за рекой трещали уже пулеметы, над мостами рвалась с противным визгом шрапнель, и наборщики разбегались из типографии, снуя торопливо между

застывших машин. Мягкий, конфузливый и деликатный Жилин в дверях вынул револьвер:

— Я вас перестреляю!

Газета вышла.

Жилин погиб. Он погиб в типографии, наш Алексей Ильич, у верстального стола, с корректурными гранками в руках: ведь газета должна была выходить до последней минуты. И она выходила, конечно. Ингуши зарубили его, отрезали ему уши и эти уши на грязном шпагате вывесили над входными типографскими дверьми.

...Я бываю иногда в этом городке над речкою в лозах, захожу на братскую могилу, которая стоит одиноко у вала, где кончается шумный городской сквер. Трава на ней выцвела, глиняный памятник осел, ссохся, и уже не разобрать на нем когда-то написанных о нашем редакторе слов. Скоро, скоро забываются люди...

Борис Ефимович, представитель

Борис Ефимович принял нас несколько эксцентрично в уютной и комфортабельной своей квартирке на Моховой: он залез в передней за ширмы, на которых вышит был белый аист (это семейные ширмы, им полагается стоять в спальне), и только краешек спускавшейся, прищемленной лиловой подвязки от носков предательски выдал странное его местопребывание. Нежданных ночных гостей — нас встретила супруга Бориса Ефимовича, дама неестественной толщины, многоопытная и апатичная, за долгие годы беспокойной коммерческой жизни привыкшая, видимо, ко всяким неожиданностям. Во всяком случае, едва только Борис Ефимович извлечен был из-за ширм с аистом, она, не торопясь и совершенно хладнокровно, с видимым знанием тонкостей этого дела, в изобилии стала складывать в желтый кожаный саквояж все, что может понадобиться любящему уют человеку в стадии предварительного заключения: подушечку, мыло „Зефир", одеколон, белье, папиросы, ассортимент щеток и щеточек, расчески, томик Эренбурга, даже расшитый ночной колпачок, даже пульверизатор в сетке.

Борис же Ефимович, прикрыв английским шевиотом волосатую наготу и рукою оправив воображаемые

кудри на голове, сказал любезно, с манерностью провинциального актера на характерных ролях:

— Пра-ашу.

... Это делается чрезвычайно просто: „коммерческий" навык, в переводе на язык современных отношений, есть не более, как проворство рук и способность пролезать в двери, на которых обозначено, что вход сюда воспрещается. Приехал человечек в далекую глухую деревеньку, где кооператив „Смычка" с ходовым ассортиментом из полотняных зонтиков, шляп „сомбреро" и душистым мылом марки „Юнон", зимой торгующий дегтем, а к Троице получающий, в качестве новинки сезона, обшивку для саней, делает оборот четыре рубля в сутки,— приехал, предположим, и говорит:

— Что же вам, дорогие товарищи, прозябать на четырех рублях, когда рядом без толку золотые горы лежат? Это даже преступно с точки зрения интересов беднейшего крестьянства. Давайте откроем отделение в Москве; весь уезд мануфактурой завалим!

Мужики народ осторожный, они спрашивают:

— А это что будет стоить?

— Ничего, говорит, не будет стоить, я, говорит, безвозмездно хлопочу, единственно из желания отдать свою молодость трудовому народу. Выдайте только доверенность.

Отчего бы и не так? Доверенность денег не стоит, она не требует хлопот: подписано — и с плеч долой.

С доверенностью в портфеле, без копейки в кармане, в самом радужном настроении, человек возвращается в Москву. Прежде всего — кредит. „Представитель" без кредита — это орел с обрезанными крыльями: никаких взлетов. Ну, кредит найдется, конечно: много ли нужно представителю

первичного крестьянского кооператива? Здесь — тыщенка, там — две. Воробышек по зернышку клюет, и то бывает сыт. Он привез с собой вдесятеро вздутый баланс, деревенские приговоры, предположительную смету, предположительный план предположительного операционного года: „Смычка“ ждет вашей поддержки, товарищи, она задыхается в тисках наступающего кулаческого капитала! Вы же стоите лицом к деревне, товарищи: деревенская кооперация с мольбой и надеждой смотрит на вас! О, он с закрытыми глазами находит струну, которая в данных обстоятельствах может звучать! Там, где слышится шелест червонцев, он будет красноречив как Плевако, настойчив и неумолим как рок, этот лысый и жирный „человек из деревни“ в английском шевиоте, у которого слева на вершок пророс в сторону сгнивший под золотой коронкой зуб! Он получит деньги, в этом можно не сомневаться! Целый Клондайк — эта доверительная деревенская бумажка в его проворных, пахнущих терпким одеколоном руках!

Он делает три операции, получивши кредит. Во-первых, в трестах по кооперативной цене он закупает товар, чтобы через час, в кафе на Тверской, товара этого даже не увидев, перепродать накладную частному оптовику: всего 50% надбавки. О деревеньке, о кооперативе „Смычка“ и о „молящих“ взорах „Смычки“ он позабыл, конечно. Да и вообще это предрассудок, что мужику нужна мануфактура: мужик ходит в домотканной дерюге. Проценты набегают шелестят червонцы...

Потом он организует, расширяет сеть „представительства“, он пишет во многие города, где есть у него родня и знакомые и приятели по многим делам и по многим сидениям во многих чеках, прожженные, алчные, чающие тоже куска от пирога люди. Мышь порождает гору. Представительства „Смычки“,

деревенского кооператива с четырехрублевым суточным оборотом, организованы уже волею его, человека, готового отдать молодость трудовому народу, в Одессе, в Харькове, в Ростове и в Ленинграде. Доверенность четырежды передоверена. Клондайк разбрасывает червононосные жилы на севере, на юге, на западе и на востоке.

Он нюхает горячий воздух многоопытным, искушенным носом: запах наживы он отличает безошибочно в десятках и сотнях прочих запахов.

Он находит двух торговцев, двух мелких, изнемогающих в конкуренции, ориентирующихся уже на „моментальную ликвидацию“ с неожиданным выездом в неизвестную провинцию оптовиков, — он диктует им с деловой лаконичностью:

— Вы продаете „Смычке“, интересы которой я представляю в столице, под гарантийные векселя, свои дела. Вы больше не нэпман, но кооперативный филиал — и, как таковой, получаете в трестах товар. Вы не платите налогов, вы гарантированы от всех обложений, вы только заведующий, гражданин и член профсоюза. Вы торгуете как хотите, но мне передаете два процента с оборота и 10 000 единовременно... Да?

И вот уже перекрасились две вывески, и сельский кооператив „Смычка“ оказался неожиданно владельцем магазина резиновых гигиенических изделий и склада пильзенского пива, с небольшим, но доходным местечком при нем: открыто ежедневно до 12 часов ночи, и выступает украинский хор под управлением Ерофеева. В хоре поет солистка Стеша, сам Ерофеев, по желанию публики, свистит перепелкой и имитирует лягушку в болоте, на склад телегами возят пиво, молодые люди заходят по вечерам в магазин гигиенических принадлежностей, из Ростова экспортирует кто-то американскую муку, в Харькове торгует кто-

то жмыхами и подсолнечным маслом, всюду пишутся и переписываются векселя, — сеть коммерческих предприятий деревенского кооператива „Смычка“ растет и ширится в проворных руках человека, у которого пророс слева зуб, с каждым лишним торговым днем.

Через день все это рухнет, рассыплется мгновенно и шутя, как домик из карт, через день наступит неизбежный эпилог без бенгальских огней, но под свет стеариновых огарков, на которых разогревается сургуч для описи „кооперативного“ имущества, — но сегодня всюду, в Москве и в Ленинграде, в Харькове, в Ростове, в Одессе и в Киеве, люди, у которых сгоревшее вчера и прогоревшее завтра, — мнут еще дрожащими пальцами хрустящие пачки так легко умещающихся во внутреннем дне дорожного чемодана денег.

А „Смычка“ в деревеньке оборачивает попрежнему четыре рубля в сутки, попрежнему лежат в лавчонке покрытые пылью, красные полотняные зонтики, и тщетно ждут „к сему подписавшиеся“ на доверенности люди мануфактуры из обетованной Москвы...

... Борис Ефимович сказал иронически товарищам, видя, как тщательно перечитывают они каждую бумажку, как тщательно заглядывают за картины с изображением голых женщин, в тяжелых и дорогих аляповатых рамах.

— Вы думаете, наверно, найти у меня стиннесовские миллионы? Ха!..

Миллионов мы не нашли. Была, правда, чековая книжка на имя мадам („это описи не подлежит, не подлежит!“) с пустячной суммой в полсотни тысяч, десяток пар золотых часов, кое-какие кулончики, кольца, броши, брильянты. Так, пустяки: сумма, в общем не превышающая скромного сметного итога

на постройку одной советской электростанции. Потом девятьсот метров мануфактуры—мадам выходила в голодный год замуж, мадам „несла“ приданое. Два ящика шампанского, с полпуда икры в коробках: оптовики пьют только сухое „Дюрсо“, икру же жуют потому, что дорога.

Зато в портфеле оказалось несколько любопытных писем.

Во-первых:

„Вы спрашиваете за Ростов? Город бойкий, экспортный. Имея здесь отделение вашего кооперативчика, можно крупно отправлять: а) разной рыбы, б) муки американской.

„Лично я обладаю большими знакомствами между лицами, предприятиями и банками. Если бы занять такой пост, как вы говорите, при доверенности, это не будет вам в убыток“.

Во-вторых, из Харькова:

„Дорогой Борис Ефимович, мы начали, как был уговор, производство для «Смычки» пряников, а также кавказских товаров. Первую партию взял уже Г. П. (каковой также сделает 8000 коробок молочной муки). Надеюсь, дело пойдет, город мне не чужой, имею довольно солидных знакомых...“.

И еще из Ленинграда:

„... Существовать здесь можно, но долго оставаться неудобно. Думаю, придется выехать следующей неделей...“.

Из Краснодара:

„... Пока все благополучно, комбинирую кредитами, хотя отзывы о нас дурные. Я здесь посижу около месяца, в каковой думаю проделать тысяч 30, после чего мог бы переехать в Минск, где мне известно немножко про чулки и резину. Однако не дольше месяца, вы же знаете: сегодня — хорошо, а завтра может быть плохо...“.

Вот она—философия и тактика рваческого ажиотажа! С поразительной отчетливостью в беглых этих карандашных строках выступает подлинное лицо трусливого и алчного столичного „представителя“ (имя же им — легион).

„Я живу сегодня, после меня — хоть потоп“. Я рву сегодня, я спешу, давясь, проглотить сегодня эти куски, ибо я знаю: червь гложет капусту, но он погибает раньше, нежели сточит кочан.

Лебединая песня

Названная песня, согласно твердого намерения автора, имела быть оглашенной на заключительном заседании четырнадцатого партийного съезда. Но известно, во-первых, что далеко не всегда с песней поступают по желанию автора: тому порукой редакционная корзина, добрый гений российской литературы. Во-вторых же, песня эта тем меньше имела шансов звучать минорным пиано с трибуны Андреевского зала, что в основе ее лежит древний сказ о невесте с бумажными розами и о женихе с наклонностями дэнди: если верить летописцу — „жених был весь в черных штанах". Вариации на эту тему, ежели в черных штанах жениха имеется партийный билет, — не слишком поощряются, как известно, контрольными комиссиями.

Впрочем, именно по этой причине и посвящена была четырнадцатому съезду лебединая песня товарища Городецкого. До этого песня заслушана была в нижегородской ГКК, потом в Москве, на Ильинке, 21 — и не встретила одобрения знатоков: фальшивое, говорят, пиано. Штиль высокий, а идеология, примерно, на уровне небезызвестного месяца, плывущего над рекой: „ничего мне на свете не на-адо...".

Поскольку товарищ счел мнение критиков некомпетентным и апеллировал к съезду, мы, идя, как го-

ворится, навстречу; ниже публикуем песню ко всеобщему сведению: „народ есть судья“.

Итак.

„Я, как и всякий человек, со всеми вытекающими отсюда последствиями, будучи холостяком и подвергаясь могучей воле природы, знал одну девушку, выражаясь словами мещанства, любившую меня. Эта связь, как следствие в подобных случаях, подошла к исходу материнства; она была склонна на общепартийный брак, но здесь, как нельзя хуже, встало русское традиционное «но», и, будучи воспитана в старых рамках заскорузлого мещанства, она невольно оказалась зависящей от родителей, которые воскликнули: «под венец!». Я заявляю съезду, что приложил все мои убеждения, политические и антирелигиозные, однакоже (?) она явно чувствовала себя матерью и категорически предложила смыть с нее, как девушки, позор. Я — чистый марксист по убеждениям, а равно и в душе, но, войдя в положение девушки и реагируя логически на могущие развернуться последствия, встал на путь смешного до сарказма (!) церковного брака и лишился дорогой для меня партии ВКП (б).

„Может-быть, в горячности эстетического настроения и чувства я потерял голову здравомыслящего субъекта; будучи экзальтически настроен, глухо внял лозунгам партийца и понесся по волнам Эрота в мутные воды омута. Но пусть съезд скажет не по воспаленному темпераменту пылкого мечтателя, а по холодному рассудку марксизма, — как я должен был поступить, щадя молодую жизнь, на основе социализма.

„Может-быть, я ошибся, но на ошибках, как сказали наши великие вожди, мы строим свое будущее.

„Заявляю съезду смело и гордо, что я не религиозный человек, я с малолетства жаждал этой

идеи и, как пловец, усиленно греб по морю революционных движений, но вот разразилась молния, предавшая меня партийной очистке.

„Поэтому прошу съезд возобновить меня в ВКП для новых усовершенствований в рядах светлого Коминтерна. Льщу себя твердой надеждой, что моя лебединая песня будет услышана...“.

Ежели верно то, что по стилю определяется человек, то образ сего революционного пловца, „в горячности эстетического настроения понесшегося по волнам Эрота“, ясен, как лампа Осрама, и точен, как мера аптекарских весов: он носит гарусный шарф и бирюзу на мизинце, играет матчиш на гитаре, говорит — „мы партийные“ — и ест по четвергам фрикадельки в томате. Не смейтесь над гарусом и фрикадельками: человек познается не только в трамвае. У Чехова спросили однажды о внутреннем содержании одного из его героев. Чехов ответил:

— Да это же ясно: он носит клетчатые брюки.

Надеждам „пловца“ на его лебединую песню сбыться не суждено. Очевидно, светлому Коминтерну придется отказаться от дальнейших „усовершенствований“ Городецкого.

„Друг Аркадий, прошу тебя, не говори красиво!“ Если можно венчаться в церкви, чтобы „не позорить девушку“, почему же не крестить потом детей, чтобы дети не оказались с „собачьими кличками“, хоть это и „смешно до сарказма“? И как широко может простираться коммунистическое уважение к „заскорузлому мещанству“ папаши и мамаши прелестницы, „на основе социализма“?

Нет уж, подальше от такой „основы“. Не стоит на ней „возобновляться в ВКП“...

Репортер Ферапонт Жмых

В те годы в однолошадном провинциальном газетном хозяйстве привередничать не приходилось: были рады каждому, кто корову не писал через ять.

И когда он пришел в редакцию, его спросили только:

— Где работали?

— У Финкеля, в Одессе.

Секретарь поморщился.

— А стихов не пишете?

— Н-нет.

— То-то. Ну, становитесь на репортаж.

И он стал на репортаж.

Бесцветные глаза, жидкая, многощипанная и линялая бороденка, обвисшая бородавка на носу, нелепый пучок волос на лысой голове тыквой — вот внешность.

И потом: широкополая, пропитанная бензином панама, люстриновый пиджачок, галстук в горошек, выжженная одесская тросточка.

Придраться, словно бы, не к чему: всё на месте, всё как полагается. Но общее впечатление — нет внешности. Плоскость. Гладильная доска. А имя и фамилия несуразные — в дополнение: Ферапонт Жмых. Но пятистрочные петитные заметки о пожарах, кражах, испорченной канализации и приблудном

скоте он подписывал неизменно значительным и напыщенным: „Сумароков-не-Эльстон“. И так же неизменно, как он подписывал, синим карандашом вымарывал подписи секретарь.

— Титулы бросьте, ваше сиятельство, — говорил секретарь: — это вам не Одесса. Не Финкель это.

— Каждый литератор м-может иметь свой псевдоним, — заикаясь, обиженно возражал Жмых.

— Пожалуйста, хоть двадцать, человеческих. А это не псевдоним — курьез одесский. Анекдот в три слова.

— Какие же это ч-человеческие?

Секретарь раздражался:

— Мое почтение, новые обязанности: псевдонимы придумывать? Иванов, Иваненко, Иващенко, Иваницкий, Чайкин, Галкин, Перепелкин... Я не подряжался, кажется...

Жмых упорно отстаивал титул. Заметки шли неподписанными.

* * *

Одесса—Финкель — дали Жмыху качества, когда-то типичные для тамошнего репортера: анекдотическую безграмотность, заумную витиеватость слога и пагубную страсть к мелкой, грошовой сенсации.

Он озаглавливал:

„Четыре младенца у одной груди“.

И писал:

„В детдоме № 3 двухгрудая кормилица кормит одновременно четырех младенцев: правой грудью — собственного, левой и двумя сосками — советских. Сыты ли младенцы, разреши, мудрый Эдип!“.

Или:

„Блуждающие коровы. Вновь на городских скверах появились блуждающие коровы с явной вредоносностью для насаждений. Кваускве тантем, о, Комхоз?“.

Секретарь сбоку, на гранке, писал:

— Кваускве тантем, о, Сумароков, на ваших гранках будут блуждать вредоносные коровы?

Снова они объяснились. Секретарь говорил:

— Сумароков! Блуждают почки, но не коровы. Отнюдь. Или: двугрудая кормилица. Что за двугрудая? Разве бывают иные?

— Б-бывают, — обиженно заикался Жмых: — бывают. В Одессе была о п-пяти грудях, с двумя п-пупками.

— Так то Одесса. Там, говорят, люди сами себя за волосы от земли подымают. У нас не полагается. Или вот еще: советский младенец. Что за категория такая? И оставьте вы в покое Эдипа: у него и без ваших коров дел куча. Слушайте и поймите...

И секретарь пространно объяснял, какой материал нужен газете и как он должен подаваться. Секретарь в десятый раз рисовал на бумаге кружочки — в каждом кружочке было учреждение — и список отдавал Жмыху. Жмых тщательно разглядывал кружочки и аккуратно прятал список в жилетный карман.

А через полчаса сдавал гранку:

„Вшитая галоша, или тайна штанов Губодежды“.

Секретарь безнадежно крутил головой:

— Нет уж, что уж, — не исправишь. Заблудший субъект. Потерянная личность.

* * *

Это было не совсем верно: потерянный человек.

Да, Одесса, бульварные листки, Финкель — беспощадны: за копейку тянули все жилы. За одну скупую копейку подай кровавое убийство, биржевую

панаму, пикантный развод и тайну каких-нибудь масок. И не как-нибудь подай — с солью, с перцем, с нервами, со скандалом! Финкель калечил людей — Жмых был одним из этих калеченных. Работать в нашей газете ему было трудно.

Но Финкель все-таки, школа. Из школы финкелевской Жмых вывез хроникерскую записную книжку. Книжка была толстая, трепаная, с застежками для четырех карандашей, с какими-то картами, планами, блокнотами и многочисленными отделениями на автоматических кнопках. Книжка, взбухшая от газетных вырезок, записок, карточек и фотографий, была испещрена какими-то записями, цифрами, таинственными иероглифами, чертежами и рисунками от руки. В ней было 268 пронумерованных страниц и в этих страницах — универсальный справочник по городу и его окрестностям, в радиусе добрых двадцати верст.

Ибо Жмыхова книжка, как „Пате-Журнал," знала, видела все: дни и часы коллегий, заседаний, комиссий и совещаний учреждений всех ведомств; фамилии, адреса, телефоны, приемные часы всех ответственных и неответственных, но нужных Жмыху работников; расписание поездов и пароходов по всем направлениям; театральный и кинематографический репертуар за две недели вперед; знала биржевые цены, валютные курсы, лечебницы, докторов, ветеринарных врачей и дантистов всего города, знала по именам и отчествам брандмейстеров, актеров, агентов уголрозыска, милицейских надзирателей, служащих вокзалов и пристаней, портных, сапожников и белошвеек.

Конечно, над Жмыхом, над его книжкой, над кругом его знакомств, поражавшим своей необъятностью и разнообразием, сперва смеялись.

Жмых говорил серьезно:

— Если р-репортер не имеет запасных очиненных карандашей и не знает, где сегодня будет п-пожар, это не репортер, а б-бондарь.

Можно было предположить, что любая уличная сенсация ему, действительно, была известна заранее ибо в самые неожиданные часы, — ранним утром и ночью, когда номер лежал уже в машине, — из разных концов города звонил телефон:

— На Спасской горит уже п-пять минут дом Добровольского, — задыхаясь, говорил Жмых. — Тушит героическая С-спасская часть. Огнеупорники, подобно львам...

Или:

— В новую больницу доставлен сейчас с реки труп неизвестного юноши мужского п-пола. На означенной груди у несчастного найдено письмо о душераздирающей т-трагедии жизни...

Сперва смеялись. Потом привыкли. Жмыха обратили в справочник, задавали ему самые неожиданные вопросы: где достать ситцу на рубашку, отчего вода не течет на Гоголевской? Жмых извлекал книжку, открывал безошибочно нужную страницу и отвечал точно, подробно, пунктуально:

— Ситец есть только в Чусоснабарме. В г-горошек, качество среднее. Обращаться к замуполномоченному, только п-письменно.

— На четвертой сажени заводной м-магистрали лопнула т-труба. Ремонт начнется завтра.

Был случай. Неожиданно и тяжело ночью стала рожать жена редактора. Редактор, сбившийся с ног в поисках акушерки, прибежал растерянный в типографию:

— Что мне делать? Ночь, не знаю никого, кому звонил, отказываются... Чорт его знает, что делать?

— Да ведь Жмых здесь! — сказал выпускающий.

И Жмых остался верен себе. Вынул книжку, развернул страницу.

— Гоголевская, 24. Мадам Митродора Шпулька. С-стаж 12 лет. Звонить во второе п-парадное, во двор не входить, ц-цепная собака спускается на ночь.

Потом Жмых доставал редактору — „для наследника“ — соску, какую-то особенную присыпку, питательную муку и наконец, к общей потехе, привел в редакцию кормилицу, краснощекую, ухмыляющуюся бабу.

Редактор изумлялся:

— Да откуда это? Да как вы знаете?

— Р-репортер все должен знать: когда восходит солнце, почем к-колесная мазь и как завязывать п-пупок у ребенка.

И он, действительно, знал все. Редактор разводил руками:

— Тоже, если хотите, талант в своем роде. Уникум.

* * *

Это всезнайство было поразительно и необычно, но объяснимо: особый репортерский нюх, острая наблюдательность, прекрасная память, привычная напряженность, настороженность.

Было другое, казавшееся совсем загадочным.

То были тяжелые дни провинциальных газет, дни усиленного культивирования „государственной тайны“, часто доводившегося до анекдота, до абсурда. Надо было часами бегать по всем инстанциям, чтобы получить самые невинные сведения о времени отхода поезда, прибытия продовольствия или ликвидации мелкой бандитской шайки. На газету смотрели косо — „кляузы разводите!“ — материалов не давали, хроникеров самым недвусмысленным образом провожали до дверей. Далеко не всегда помогал и ре-

дакторский авторитет. Государственная тайна, и баста. Иди, жалуйся, доказывай. Работать было тяжело.

Жмых же в этой обстановке чувствовал себя, как рыба в воде. Закрытых дверей для него не было. Он и тут знал все, от крупного до мелочи, от какой-нибудь грандиозной панамы до ведомственного, семейного скандальчика. Мало того, он, репортер, зачастую конфиденциально сообщал редактору о настроениях в „сферах“, о готовящихся служебных переменах и военных секретных новостях. И все мы хлопали только ушами: откуда, как?

Однажды собрался явочный, полуофициальный съезд духовенства и верующих мирян всей огромной епархии. Редактору для статьи понадобились срочные данные о его составе, настроениях и работе. Висели у телефона час — толку не добились. Где не знают, где говорят: „тайна“. К самому же съезду подступиться было, конечно, невозможно.

— Ну, Сумароков, — сказал редактор, — это вам, в некотором роде, экзамен на зрелость. Добейтесь. На вас, так сказать, вся Европа смотрит. Только сейчас же...

Жмых задумался, что-то соображал, колебался.

— Узнать я могу. Только — условие: никому и никогда секрета моего не открывать.

— Ну, ну, ладно, обещаем.

Жмых порылся в книжке, подошел к телефону, вызвал номер и, когда ему ответили, вмиг и неожиданно преобразился: перестал заикаться, голос сделался тихий, расслабленный, со старческим глухим покашливанием.

— Это вы, отец Александр? Говорит владыка...

Мы стояли, разинув рты.

— ...вот узнал и скорблю: будто просочились жидовствующие и большевиствующие? Кхе... Кхе... Како вы говорите?

Левой рукой он держал трубку, правой быстро чертил на бумаге стенографические значки. То прямо, то ловко лавируя, полувопросами, полунамеками спрашивал, узнавал все, что было нужно.

— ...Так, так. Отрадно. Что? Нет, лично не полагаю, но передайте: приветствую и молюсь...

Кончил, повесил трубку. Все смеялись. Секретарь спросил:

— И часто вы так действуете?

— Не особенно. В крайних случаях. Это рискованная м-метода. Я больше через з-знакомых. У меня же знакомых двенадцать м-миллионов. Но иногда приходится. Помните дело губкожи? Все п-подметки истрепал, ничего нельзя добиться, хоть р-разорвись. Но у губкожи есть жена и самого губкожу она зовет к-котик. Я как ж-жена и подъехал. К-котик, говорю, мне сейчас сказали, что у тебя н-неприятности, я волнуюсь, р-расскажи. Губкожа говорит: я тебе, д-душенька, дома расскажу. Нет, д-думаю, домой ты уже не вернешься. К-котик, говорю, я нервами заболею. И он р-рассказал.

— Да как же вы за жену-то говорили?

— А вот так...

И он показал. Был уже не Жмых и не владыка: была пискливая, противная, шепелявящая баба, судя по голосу — толстая и глупая. Опять смеялись все, но редактор сказал серьезно:

— Все-таки, так нельзя. Как ни говорите, но это шантаж. Нельзя.

— Да ведь для газеты! — удивленно ответил Жмых.

Потом, обычно молчаливый, замкнутый, вдруг разговорился. Рассказывал:

— Н-никакой у меня личной жизни нет. Я один, как п-перст. Мама была, м-мама умерла. А кроме мамы, кто же меня полюбит такого, к-когда я урод,

н-пакость? У меня только г-газета. Я для г-газеты всё. Она мне д-дороже любимой женщины. И нельзя у меня отнять газету, потому что тогда я п-повешусь...

Говорили долго. Как часто бывает, под уродливой, карикатурной личиной, едва ее тронули, оказался душевный, мягкий, хороший человек. И это почувствовали все, как-то сразу наполовину примирившиеся со Жмыхом. Секретарь напоследок сказал:

— А все-таки вы поменьше этого... во избежание и прочее... А?

— Не обещаю, — откровенно ответил Жмых.

Вероятно, он продолжал свои телефонные мистификации, но надо отдать ему должное: никогда он не употреблял во зло получаемых этим путем сведений, никогда не воспользовался ими в личных целях, нигде и никогда не обронил неосторожного слова. Он доставал их для газеты, газете отдавал. Только ей. А раз для газеты — все пути и способы он считал возможными.

* * *

Жмых уехал от нас вынужденно, со скандалом.

В местном зверинце взбесился колосс-слон Ямбо, проживший в городе целый десяток лет. Слон наделал много бед, перебил нескольких человек, изломал клети, вырвался из зверинца. Его убили и сожгли. Жмых, обретавшийся все время в состоянии чрезвычайной ажиотации, сфотографировал слоновые останки — кучку пепла и костей. Сделали клише. В том же номере шел снимок президиума новоизбранного губисполкома — тоже Жмыховой съемки. По несчастной случайности при верстке перепутали подписи под клише.

Под кучкой слоновых останков стояло:

„Президиум губернского исполнительного комитета".

Под фотографией президиума:

„Это все, что осталось от Ямбо“.

Жмых, убитый, бродил растерянно по редакции с злополучным номером в руках и говорил:

— В Одессе за это выпускающего п-потопили бы с грузилом в Черном м-море.

Вышел большой скандал. Номер арестовали, редактора вызвали для объяснений. Тщетно старался редактор отвести грозу и выгородить без вины виноватого Жмыха. Вместе с выпускающим Жмыха предложено было немедленно отстранить от работы. Уйти из газеты — значило покинуть город.

И Жмых уезжал. Мы тепло провожали его. Он был не наш, он весь с головы до пят был от Финкеля, но что-то было в нем, что отпускало ему его прегрешения. Это что-то было газетной страстью, исключительной, самозабвенной любовью к нашему делу.

И тут он остался верен себе. После второго пароходного гудка вдруг всполошился, хлопнул себя ладонью по лбу:

— Ах, да, мне же обещали сообщить...

Исчез, звонил кому-то неведомому по телефону и через пять минут, карандашом, на спине у заведывающего хроникой написал и сдал свою последнюю гранку:

„Роковой мешок — четыреста пудов раструшенного сахара“.

Секретарь хохотал:

— Нет, вы неисправимы! Вы и из гроба, верно, — когда умрете, — будете гранки писать о происшествиях на том свете...

. . . .

Полгода спустя, на вокзале большого южного, тогда эвакуировавшегося города, я зашел в вокзаль-

ную телефонную будку. По телефону говорил кто-то рокочущим баском:

— Нет, вы потрудитесь объяснить, где же та баржа с солью, что взял на буксир „Поспешный“? Ка-акк-с? Говорит с вами уполномоченный Совнаркома по эвакуации...

Я вгляделся: в длинной, тощей фигуре уполномоченного мелькнуло что-то знакомое. На скрип дверцы человек быстро обернулся. Передо мной стоял Ферапонт Жмых, Сумароков-не-Эльстон, репортер от Финкеля.

▭▭▭▭▭

Две собачки

Жил-был пес, его звали Ральфик и он принадлежал на юге весьма ответственному лицу.

Весьма ответственное лицо занимало в городе квартиру бывшего миллионера и мукомола, которого способный сынок был министром во Временном Правительстве. Мукомол был эн-эс по убеждениям, эстет и лирик в душе. Он пил вермут, шкатулка с суматрскими сигарами в его кабинете изображала храм Дианы в Эфесе, и даже запись о деньгах, отданных в рост, велась в этом доме на точнейшей репродукции папируса времен царственного Хеопса.

Ральфик спал в этом стилизованном доме на сафьяновой подушке под картиной Ватто, он ел из фарфоровой посуды, на которой герб мукомола изображал богиню Ату, сыпящую золото на жернов крупорушки; няня и шофер ответственного лица купали Ральфика в ванне, подстригали и особыми гребнями чесали шелковистую его, золотую шерсть; Марья Львовна, бездетная супруга ответственного лица, лично выводила его по утрам на прогулку и смотрела с умилением на естественные задержки его у окрестных заборчиков.

Собачье счастье похоже на человеческое; тот, кто ест кашу со шкварками, с завистью смотрит

на бёф, но, получивши цыпленка, он обязательно пожелает соуса ламберон. В холе и неге Ральф, подросши, явно стал тосковать по хорошем собачьем обществе: он потерял аппетит и с грустью нюхал послед на улицах, всхлипывая во сне, урча и поворачиваясь, — и Марья Львовна обеспокоенно щупала мизинцем его горячий и пересохший нос. Очевидно, была необходимость радикальных изменений в режиме: Марья Львовна сожалела, почему, наравне с детскими, не подумали до сих пор об устройстве собачьих фребелевских садов. На семейный совет, где обсуждалась, как таковая, Ральфина тоска, был приглашен некто, ведавший транспортом в крае; он не назывался Молчалиным, но умел не только понимать, но даже предвидеть любое движение начальственного перста. Он высказал хозяевам пролетарское сочувствие, обещал справиться в скотолечебнике, сказал мимоходом, что нежность и привязанность к животным свойственна всем великим людям, — и через неделю из другого города привез на аэроплане годовалого щенка-лаверака. Щенок был ушастый, с белой лысинкой и шельмоватый; его назвали Бим, и он утвердился на второй подушке под вторым сюжетом Ватто.

Ральф ожил, и собаки вдвоем терроризовали весь двор: они рыли предполагаемых кротов, наворачивая под окнами кучи мусора и земли, драли соседских кур и таскали мясо из кухонь, до смерти пугали ошалелыми своими прыжками игравших в песке ребятишек и хватали за икры проходящих людей. Двор был населен ответственными работниками. Их отвественность была однакоже меньше, чем лица, владевшего этой резвой собачьей парой; они безропотно сносили поэтому покусы, только ночью или в закоулке разрешая себе удовольствие перетянуть палкой четвероногого хулигана. Эти

счастливые минуты выдавались не часто; на виду же они звали собак Ральфик и Бимочка и, чертыхаясь про себя, кормили их сахаром и обрезками от филе.

Наши дни не всегда зависят от нас, но чаще от обстоятельств. Вскоре ответственное лицо переехало с юга на север. Несмотря на то, что в южном городе был жилищный кризис и люди ютились часто вшестером на квадратной сажени, собаки выехавшего ответственного лица остались жить с няней в стилизованной квартире мукомола, эстета, лирика и покровителя изящных искусств.

Иные, чересчур горячие, пробовали возмутиться; другие, трезвые, считали, что надобно оставить собакам жилую норму с академическим излишком, разбронировав все же остальную площадь. Но вето не было снято, и собаки с няней, неуплотненные, остались в опустевшей квартире мучника. Попрежнему няня мыла и чесала их, попрежнему кормила с фарфора и на шнурках выводила, по мере надобности, к забору; но отношение к ним во дворе резко изменилось. Теперь уже никто не стеснялся швырнуть в них камнем, пнуть сапогом или окатить из окна помоями; потеряв былую независимость, они часто убегали теперь со двора, поджав хвосты, скверно чувствуя себя в этом враждебном окружении.

Марья Львовна, супруга ответственного лица, дважды пересекая страну, с севера приезжала на юг проведать любимцев. Она журила няню за неподстриженную шерсть и возмущалась бессердечием людей, имевших дерзость претендовать на это собачье палаццо. Помилуйте, не на улице же жить Ральфу?

В третий раз Марья Львовна приехала, когда Ральф, выварявшись на свалке, заболел чесоткой; его поили с ложечки настоем из богульника и ма-

зали благовонным маслом, у постели его бессменно дежурили врачи, и взволнованная хозяйка трижды созывала консилиум ветеринаров, собаководов, псарей и природных любителей и специалистов собачьего дела вообще.

Богульник не помог, и псари оказались дилетантами: Ральф скончался трагически на расцвете пятой весны.

В сильнейшем горе Марья Львовна плакала три дня, запершись в розовом будуаре, никого не приняла из тех, кто приезжал с соболезнованием, и вся распухла от слез. Останки Ральфа на автомобиле отвезли за город и предали погребению в поэтической и живописной окрестности. На похоронах, кроме няни и шофера, был еще некто, ведавший транспортом в крае и привезший в свое время на аэроплане лаверака Бима; он рассудил благоразумно, что, хоть начальство и перешло в другой город, уважение оказать все-таки должно: еще пригодится воды напиться.

Поплакав три дня, Марья Львовна отбыла на север, строго наказав все хранить попрежнему и, в знак памяти, оставить нетронутой осиротевшую Ральфину подушку под картиной Ватто.

В стилизованной квартире остались теперь няня с Бимочкой. Бимочка кушает суп-пейзан и сахар на сладкое, няня моет, чешет его и на шнурке выводит понюхать следы на улице...

▭▭▭▭▭

Суд идет!

— Суд идет! Прошу встать!

Крошкин и Макаров встают, переминаясь, — потупившись, они разглядывают угрюмо исшарканный и стертый тысячами ног пол в „подсудимой загородке". Лица закоренелых преступников мрачны, и меч пролетарского правосудия, занесенный над их головами, не вызывает даже тени раскаяния в душах злостных рецидивистов.

— Обвиняемый Крошкин, обвиняемый Макаров! Признаете ли вы себя виновными в дискредитировании власти, предусмотренном предъявленными вам статьями?

— Нет.

— Нет.

Монотонным, скрипучим голосом секретарь читает пространный обвинительный акт. В зале перестали кашлять и слушают напряженно и вытягивают, привстав на цыпочки, шеи, чтобы разглядеть через головы передних преступного Крошкина: Ишь, еще отпирается!

Послушаем и мы...

...Года 1924, мая седьмого дня... Названный Крошкин, народный судья Суздальского уезда, возвращаясь в камеру из села Володятино и проходя цветущими лугами у поймы, был смущен красотами

местной природы. Луга цвели и испускали опьяняющий аромат, над лугами стрекотали кузнечики, жужжали стрекозы, и солнце на закате золотило лесную опушку и уходящую даль. По случаю всех этих романтических обстоятельств, судья, охваченный внезапно беспричинным весельем, почувствовал себя в том счастливом довузовском возрасте, который не совсем соответствовал дате рождения, отмеченной в его партийном билете; он взял за руку секретаря суда, у которой, к несчастью, были синие глаза и белокурые волосы выбивались из-под платка, и они, в общем и целом поддержанные народным заседателем и престарелым отцом многочисленного семейства Черемухиным, расшалились на лугу, бегая, хохоча и обрывая цветы, как ребята. Данное скорбное явление замечено было мещанином Мамихиным, копавшим на выселках огород. Мамихин любил в щелочку поглядеть для интереса в чужую освещенную ставню, аккуратно отмечая в свое время для представления иерею всех скоромившихся в постные дни, и это был, вообще, человек отменных добродетелей и строгого образа мыслей; он незамедлительно сообщил по инстанции о происшествии на пойме... А судья-то, знаете ли, цветочками занимается, с секретаршей шашни завел! Ему бы в камере за делом сидеть, а он на лугу кузнечиков, знаете ли, ловит, за стрекозами бегает, даром что партийный...".

На двадцать девятой странице секретарь делает паузу, пьет воду, отирает платком вспотевший, мокрый лоб. В зале шепчутся: за стрекозами? Вот тебе и коммунист! Крошкин сидит неподвижно и молча: он попрежнему, насупившись, смотрит вниз.

...Того же 1924 года, но месяцем позже, судья Крошкин и народный следователь, член ВКП, Ма-

каров, на средства, добытые неизвестным путем, приобрели в буфете на станции одну бутылку пильзенского пива и понесли ее, с вполне очевидным преступным намерением, домой. По дороге, однако, их застиг ливень, вследствие чего оба они завернули в дом гражданки Болотиной, где публично и бесстыдно, на глазах у всех, осушили названную пивную бутылку до дна: на человека пришлось по стакану с четвертью. Преступники желали замести злодейские следы и выкинули порожнюю бутылку в мусор, но оргия не прошла безнаказанно, и о ней было сообщено по принадлежности.

На основании чего (да, да, факт!) означенные Крошкин Василий и Макаров Николай отвечают перед губернским ярославским судом по статье 109, с наказанием по 1 части 105 статьи Уголовного Кодекса.

— Встаньте, Крошкин Василий! Отвечайте суду прямо и честно: ловили ли вы в указанный день кузнечиков на лугу?

...Прокурор отказался от обвинения: он подозрительно много кашлял, делаясь красным от натуги, и платком закрывал лицо. Защитник, победно улыбаясь, разводил руками: что же, товарищи судьи, уставом ВКП не запрещено любить солнце и рвать ромашки на лугу! Кузнечик, пойманный судьей, не поколеблет советской Фемиды! Что же касается пива, товарищи судьи, то и сами вы, вероятно... Здесь он был остановлен председателем: язык у адвокатов подвешен так, что они не могут говорить по существу.

Суд оправдал Крошкина и Макарова. Но это дело тянулось следствием около двух лет: обязанные подпиской о невыезде, обвиняемые опрашивались до суда, примерно, по десяти раз каждый; их едва не исключили из партии, смотрели на них косо

и подозрительно, как на примазавшихся, „дискредитирующий элемент". Шутка ли, что́ перенесли люди, два года ожидая, по причине указанной стрекозы, судного своего дня? Вот тебе и стрекоза — какое, подумаешь, ехидное насекомое...

▭▭▭▭▭

Он видел Ленина

У мавзолея, когда с единственной и величайшей трибуны отзвучали приветственные слова, простые и значительные, как просто и неизмеримо велико все, связанное с именем человека, взглянуть на дорогие черты которого пришел двухтысячный учительский съезд, у мавзолея я спросил учителя, скромного, в линялой своей барашковой шапке, в детском, почерневшем от времени, верблюжьем башлыке, похожего на сотни других:

— Вы видели Ленина раньше?

Шевеля беззвучно губами, он думал долго и напряженно, как будто в вопросе этом был какой-то особенный смысл. Потом он сказал:

— Да, я много раз видел Ленина.

Я знал, что учитель этот ехал в Москву из глухого медвежьего угла Сибири одиннадцать суток, что места эти,—где в нетопленой, насквозь промерзлой, всеми ветрами продуваемой школке проводит он системы комплексную и пенитенциарную, — непроезжие места, что на весь уезд значится там четыре бездействующих, по причине порубки столбов, телефона, что губернский агитпропщик случайно заезжает туда единожды в год, и газеты, зачитанные и затрепанные до дыр, получаются из столицы на восемнадцатый день. Как мог он, впервые за

пятнадцать лет выехавший за волостные пределы, видеть Ленина?

Он сказал просто:

— Я видел Ленина в каждом нашем сибирском мужике, который уходил партизанить в тайгу: с кольями, с вилами, с голыми руками шли они на колчаковские артиллерийские дивизионы, и эти дивизионы в ужасе бежали от них. Я видел Ленина в каждом красноармейце, когда вступала освободительная армия в Сибирь: их заедали тифозные вши, шли они голодные, раздетые, коченеющие, замерзшие их трупы десятками устилали дороги, — но из них никто не повернул назад. Я видел Ленина в рабочих, гасивших заводские печи и уходивших с заводов в леса: их расстреливали за это. Я видел Ленина в полковых политпросветчиках, шашками вырезавших азбуки из картона, на ходу, в переходах, у костров учивших грамоте раздетых, разутых, голодных людей: голодные люди складывали из вырезанных букв слоги. Я видел Ленина в продармейцах, по фунтам собиравших хлеб в спрятанных и жадных кулацких ямах: скольким из них эти нужные революции хлебные крохи стоили жизни? Я видел людей, умиравших за дело Ленина, за революцию, которую он возглавлял, людей, перед лицом неизбежной смерти не убавлявших шага. Так непостижимо велика была сила духа в них. В них я видел Ленина...

Так говорил серенький, похожий на сотни других, учитель этот, в детском верблюжьем башлыке. Я думал: да, это очень много — видеть Ленина в людях, от покуса тифозных вшей, от пули кулацкого обреза, от холода и голода умиравших за ленинское дело, это очень много — ощутить во всей ее потрясающей глубине силу их революционного духа, это очень много — понять за что умирали

люди эти, не дрогнувши перед смертью! Ибо это понять — значит понять революцию, значит стать под революционное знамя.

Человек, серенький учитель в детском верблюжьем башлыке, понял это. Он был одним из тысяч, пришедших к мавзолею, чтобы у мавзолея сказать об этом.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Интервью

Я не знаю, кого представляли эти два человека, с одинаковой корректностью говорившие на трех европейских языках: может-быть консервную фабрику, может-быть машинный трест, может-быть колбасную фирму.

Представляли они, во всяком случае, нечто иностранно-промышленное и нашу выставку охаживали, привычным глазом щупая, как и что здесь лежит, в этой стране необъятных возможностей: какими руками урвать кусок?

Мужик же, переобувшись на скамейке, ел арбузные ломти, круто посыпая солью, и мужик этот представлял Россию, многоверстную, лапотную, однолошадную.

Иностранцы шли мимо, и один сказал, посмотрев на мужика, как умели смотреть и наши баре,—не на мужика собственно, а поверх, сквозь:

— Вы хотели услышать подлинный народный голос? Поговорите с этим субъектом. Он во вшах, это русский пейзан...

Они остановились и смотрели на вшивого пейзана. Пейзан, посыпавши солью очередной арбузный ломоть, взглянул на широкий иностранный зад и сказал вслух, равнодушно, ни к кому собственно не обращаясь:

— Гладкие, черти.

Иностранцы сели на скамью: не слишком близко, чтобы не наползла русская вошь, не слишком далеко — из корректности, как учили в фатерляндах добродетельные тетки.

— Здравствуйте! — сказал иностранец, притрагиваясь к котелку. — Как живете?

— Слава тебе господи, — сказал мужик, кусая арбуз. — Живем помаленьку. Как ваша милость?

Вероятно, это была единственная приветственная фраза, которую знали иностранцы из „варварского языка этой страны“. Вслед за тем наступила пауза, и явственно ощутилась нужда в переводчике. Переводчик предстал в лице одного московского журналиста. И иностранцы стали интервьюировать вшивую Русь.

— Скажите, — спросил иностранец: — как вам понравился наш отдел на выставке?

— Машинки ничиво, — сказал мужик. — Видали мы такую у вас машинку: работает за нашинскую тройку, а бензину всего в день лопает полпуда. Подходящая машинка: и косить, и пахать, и молотить. Нам бы таких по полсотне на губернию — замяли бы мы вас вот куда... — мужик неожиданно хлопнул по лаптевой подошве, подняв кучу пыли. — Да... Ящики еще у вас есть, без курей цыплят выводят по две сотни. Называется кубатор. Нашей куре не устоять, конечно...

Иностранцы засмеялись. Но у мужика были свои мысли. Мужик сказал строго:

— Что же тут, например, смешно? Страна наша нищая, да порядок не ваш: богатство в своих руках, понял?

Переводчик перевел, иностранцы поморщились.

— А об куре ты не подумай плохо, — снова сказал мужик. — Я своих курей кормлю по-ученому,

корнем запаренным. У меня кура семьдесят яиц выпускает. Видали и ваших. Гребни, это действительно... Гребни-то эти, говорили, жрут у вас... Ну, а нащет яиц не знаю: это еще поглядеть надо.

— У него есть национальное достоинство, у этого оборванца, — сказал иностранец по-французски. — Ну, а чем, по его мнению, можно заинтересовать деревню?

Мужик насторожился и сказал неохотно, увязывая в торбу арбузные остатки:

— Говорено уже: машина. Доставляй машину, отвалим пудами: хотя рожью, хотя горохом, чем угодно. А бархаты оставь покеда при себе.

— А как, — спросил снова иностранец, — он настроен в отношении концессий, если он имеет о них представление?

— Управимся сами, на чорта они сдались, — сказал мужик, выслушав объяснение переводчика, уже совсем сухо. — Народу фатает и без них. Пусти козла в огород траву щипать, без капусты останешься...

Иностранные носы заметно вытянулись, а мужик, вдруг распалясь, полез лаптями на лаковые башмаки.

— Вашего брата тут шататься стало невидимо сколько по нашей земле, — сказал он сердито. — Ходите вы вокруг да около, аж глаза просмотрели, с какой бы стороны уфатить. Но я вам скажу, заметьте эти слова: выше звезды не плюнешь! От нашего труда возьмете остатки: это народ разрешит, чего сам не может. Другого не фатай, — где не сеял, не соберешь, — обожгешься!

Иностранцы встали, отодвигаясь. Иностранные физиономии не выражали больше ничего: стали бесстрастны, окаменели.

— Спросите у него еще, пожалуйста, вот что: как он смотрит на возможности буржуазной реставрации в России?

Если бы иностранцы были знакомы с особенно энергичными оборотами русской речи, интервью закончилось бы, вероятно, несколько эксцентрично и конфузно. Потому что мужик статей Троцкого не читал и в критический момент наиболее подходящим для выражения своих чувств считал все-таки прием, испытанный веками.

— Чего тут... — сказал сердито мужик переводчику: — заверни ты их по-нашему...

В выражениях отменно-деликатных переводчик высказал мужицкое мнение о буржуазной реставрации в России, и иностранцы пошли, напыжившись.

Мужик смотрел им долго вслед, и видно было, что в голове его ворочается тяжелая и неповоротливая, но своя — вшивой России — мысль.

— А ты думал вершки слопать! — сказал он наконец. — Профост, зубы поломаешь...

Трое в бане

Поэты, публицисты, литераторы, художники и драматурги — они воспоют когда-нибудь славную советскую анкету, они занесут ее на скрижали истории, запечатлеют ее в тысячах книг и на тысяче полотен, в манускриптах и папирусах сохранят ее в ее девственной прелести до грядущих поколений и грядущих беспаспортных времен. „Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу“...

Тов. Бухарин сказал как-то об этой анкете, что в ней нехватает только одного параграфа: „Были ли вы арестованы при советской власти и, если нет, то почему именно?“.

Некий молодой советский писатель, по причине дырявых башмаков и крайней запутанности авансовых счетов в родных издательствах, философствующий часто на тему о мирской суете и бренности существования, — высчитал как-то на досуге, что анкетами, собранными по республике за год, можно бы трижды опоясать землю и Госиздат разорился бы в две недели, оплачивая эту лирику по пятаку за печатный лист.

Да вот, например, о городе Киренске. Город Киренск, отмеченный на карте точкой, приметной лишь вооруженному глазу, расположен на окраине

Иркутской губернии, и по слухам, пока непроверенным, именно о нем сказано у Гоголя, что отсюда ни до какого государства невозможно доскакать. В каждом российском уездном городке есть, как известно, Гоголевская улица, отель „Франция“ и баня с вениками, открытая по субботам.

В одну из таких минувших суббот, с нескрываемым намерением очиститься в купели от недельныя скверны, киренскую баню имел неосторожность посетить рабочий-монтер Иван Ларионов. С ним отправились престарелая супруга и жилица, обитавшая в их домике на окраине со времен севастопольской обороны. По причине обилия насекомых и грязи в общем отделении, боясь дурной заразы, они, решив мыться поочередно, взяли один общий номер. И это оскорбило нравственные чувства парившегося в предбаннике младшего делопроизводителя общего отдела уисполкома. Памятуя о том, что в бане он является в данный момент единственным представителем местной власти, и полагая своим долгом блюсти добродетель подведомственного населения, — делопроизводитель общего отдела распорядился вызвать к месту происшествия милицейский наряд.

Стариков повлекли в узилище и приступили, „с предупреждением по статьям 177, 179 Уголовного Кодекса“, к составлению пространного протокола о „нарушении иркутского губисполкома“.

Итак:

— Что вы делали до Февральской революции?

Вы думаете, это шутка, зигзаг фельетонного пера? Да нет же! в отношении красок жизнь богаче любого фельетониста. Иван Ларионов, привлеченный к законной ответственности по делу „о мытье в городской бане“, заполнил в умилиции „анкету о социальном имении обвиняемого лица“, заключав-

шую в себе 46 разнообразнейших граф, параграфов и вопросов.

Сведения о возрасте, о семейном положении, образовательном цензе, местожительстве и службе— это только прелюдия, бледное вступление, вводная часть.

Ваше имущественное положение? Перечислите точно, какое имеете имущество, движимое и недвижимое. Какою суммою определяется его стоимость? Когда, где и у кого таковое приобрели, и какими документами подтверждается покупка?

Занимались ли торговлей? Промыслами? Где и когда именно, и какой доход имели от таковых?

Ваше прежнее происхождение? Были ли когда дворянином? Крестьянином? Мещанином? Состояли ли служителем религиозного культа и почему сложили сан?

Состоите ли в партии, профсоюзе и, если состоите, а раньше не состояли, то когда именно и почему в таковые вошли?

Чем занимались (ну вот, ну вот!) до Февральской революции и до Октябрьской революции и где были во время колчаковщины?

Который раз привлекаетесь за однородное преступление?

Находились ли под судом, следствием, где, когда и за что? Что имеете от себя прибавить к пропущенному в вопросах?

Иван Ларионов ничего не имел прибавить „к пропущенному в вопросах". Он объяснил честно что за однородное преступление не привлекался, но с упорством закоренелого преступника совершает таковые еженедельно, ибо любит, грешным делом, в субботу побаловаться с веничком. Его движимое имущество составляют коза и девственная, вполне бездоходная курица, но документов на право вла-

дения этой живностью у него нет. Он обеспокоен, не есть ли это законный повод к отчуждению движимости в доход государственной казны? Он никогда не был дворянином, а почему именно вступил в профсоюз — объяснить затрудняется. Очень странно: идеологическая его линия лишена, видимо, классовой четкости. И, вообще, возникают некоторые сомнения: он монтер, а состоит в союзе водников, только потому якобы, что некогда плавал в северном флоте. Состоит в союзе водников, а в опись движимого имущества включена икона абалакской божьей матери в серебряной ризе. Вы верите, значит, в бога? А проходили ли вы аттестационную комиссию и комиссию по чистке советского аппарата, гражданин?

Он говорил, они писали. Уже давно погасли огни, давно закрылась баня, брезжил рассвет, и пели петухи.

— Итак, что вы делали до Февральской революции, гражданин?

Козел

Говорят, что советская энциклопедия предполагает расшифровать общеизвестную козлиную бабушку: никогда, якобы, честные козлы у этой бабушки не живали, и самая бабушка измышлена буржуазией, как средство затемнения классового сознания у трудящихся дошкольного возраста. Пока же из словаря Даля о козлах нам известно, что с самого паршивого из них можно выдрать, как гласит о том народная мудрость, один клок шерсти, видом и запахом похожий на паклю, и что любителям сушеной моркови и пирогов с капустой отнюдь не следует пускать озорников в огород. В буднях уездного российского бытия козлы всесоюзно известны также, как сугубые любители обдирать и затем жевать, пачкая бороды в клейстере, исполкомовские приказы и афиши на заборах и столбах, что приводит в отчаяние провинциальных антрепренеров и смущает исполкомовские умы мечтами о воздушных, светящихся досках на Бродвее: небось, лампочку не сожрешь!

Козел, которого мы имеем в виду, два года без призора бродит по улицам тургеневского города Льгова и в дополнение к качествам, свойственным его зоологическому виду вообще, обладает индивидуальной особенностью, пренеприятной и эксцентричной: шкодливое животное взяло за правило, подобно

буйволу в периях или дикому кабану в эйтопомарских лесах, из-за угла налетать с ураганной силой на мирных степенных пешеходов и, рогами прижав человеческую особь к забору, ехидно продирать обывательское платье в самом для этого неподходящем, щекотливом и ютящемся скромно в естественном устье спины месте.

Льговские граждане издавна привыкли уже к козлу, опытным глазом определяя на расстоянии расположение буйного его духа. Так, если козел, пресытившись экспроприированными с базарных возов бураками, бредет меланхолично вдоль улиц сонных, на ходу жуя бородку и чухаясь облезлым боком о завалины, — граждане минуют его спокойно, на ходу фамильярно, интимно и заискивающе почесав козлу за оборванным ухом: эх, мол, козлик ты, козлик! Но страшен бывает льговский козел, когда, застывши на перекрестке и склонивши долу лироподобные рога, он поднимает зловеще хвост перпендикуляром: куры, гребущие уличный жемчуг, прячутся тогда во дворы, кошки залезают по трубам в желоба, и люди, кому жаль своей молодости, укрываясь за тумбами и деревьями, боязливо обходят это пугало стороной.

Проходили, как говорится в кинематографических либретто, года, — но не дремлет старший милиционер уездного конного резерва Селиванов. Однажды, когда козел особенно нашкодил на базаре, мужики дручками загнали его в угол, и, плененный домашним пеньковым лассо, чинами милиции он доставлен был, сопровождаемый толпой неистовых отроков, в отделение. Отметив козлиную поимку в графе дневных происшествий, старший Селиванов рапортом сообщает о козле начальнику умилиции:

„Доношу, что принадлежащий Козел общему отделу уика, ш а т а ю щ и й по улицам города Льгова и производит вред гражданам города. А также

крестьянам, каковые приезжают с различными продуктами. И шатающий по базару Козел уничтожает и перегаживает все продукты, так как за ним нет наблюдения, а почему прошу распоряжения об уничтожении такового, находящегося в резерве, о чем и доношу рапортом от 15 сентября 1925 г.".

Начальник умилиции впал в сомнение: не велика птица — козел, а все же отмечен в шести книгах, как государственное имущество льговского совета рабочих и крестьянских депутатов. Убьешь, отвечать еще придется по 64 статье. Он запросил поэтому общий отдел:

„Прошу вашей санкции, в виду бесхозяйственности козла, на убой его, или же, если он общему отделу принадлежит, держать его во дворе. Начумили (подпись)".

На подлинном зав. общим отделом туманно и возвышенно начертал:

„Принять соответствующие меры, определив его дальнейшее существование".

Завязалась в определении дальнейших путей и норм козлиного существования междуведомственная переписка, козел же тем временем сорганизовался и заявил по поводу милицейского произвола мотивированный и, в смысле вещественного оформления, весьма нескромный протест. Протест прибрали метлой, а козла выгнали из резерва во двор, откуда, в виду заборной разрухи, он опять же вылез на улицу и, вселяя трепет во льговские сердца, укрепился в прежней аггрессивной позиции на перекрестке у тополей.

Жив козел.

Мы далеки от намерения извлекать из козла мораль. Нас интересует попросту — зачем нужен козел уисполкому? Положим, козье молоко содержит большой процент альбумина, но козлы, как известно, не

доятся. Положим, в Белуджистане верят, что в козлиных желудках таится чудесный и драгоценный лечебный камень, — но от Льгова до Белуджистана дистанция такая же, как от козла до савойского жирафа. На Тибете козлы ходили когда-то в праздничных упряжках, но во Льгове, по слухам, предпочитают ездить на лошадях.

Для чего же, в устрашение и наказание всему городу, содержит уик бесхозяйственного козла? Как говорится: жил-был во Льгове серенький козлик...

Мираж зампреда

Говорят, что по письму человека психографологи определяют вес и объем его мозга, наследственность, темперамент, привычки, цвет волос и даже количество родимых пятен и мозолей на мизинце. Не знаем, не знаем! Если кто специалист — ему и книги в руки. Честна мозоль, которая на ладони; мозоль же на мизинце есть вещественный придаток к буржуазному образу мыслей, гнуснейшее порождение ботинка, носом напоминающего клюв цапли, возведенный веком в гиперболу. Про это есть Кукироль и микстуры Глика: наравне с родимыми пятнами, оставляем мозоль, при определении достоинств пишущего, как человека и гражданина, в стороне. Что же до мозгов, то не столь важна, как говорится, мера, сколько качество продукции. Психографологии надо отдать однакоже должное: в письме человек виден иногда, как в зеркале.

Например, зампредседателя авдеевского райисполкома в Сталинском округео братился ко всем сельсоветам со следующим циркулярным письмом:

„Темп развития какой-либо деятельности, охвата ее полной работоспособности и привлечения плодотворности по возложенному поручению, вполне соответствует расположению времени, интективному и моральному подходу к делу".

Мы не совсем согласны с этим отчетливым положением. Вообще, гораздо лучше расставлять иностранные слова прямо в порядке трудолюбивой выписки их из словаря Граната: получается много интективнее.

„Не ограничиваясь тем, что, вопреки мизерному представлению по сравнению к намеченному числу выявленных претензий, вы считаете себя вполне исправными и чистыми, но, детально разобравшись, бросив свой кругозор, вы можете сами безотрицательно ответить, что работа по большей части впереди. Районный комитет хорошо знает, что с вашей стороны не по вине вашей воли, но по какому-то безотчетному прозаичному явлению к неизвестному периоду, развита в полнейшей степени инертность. Но суть дела не смотрит на индивидуальных претендованных особ по вышеозначенному адресу, а если и в полной мере в таком расположении духа будем находиться и мы, то ясно, что из этого можно ожидать“.

Действительно, тяжелый случай: период неизвестен, явления безотчетны, особы претендованны — чего уж тут ждать хорошего?

„Не под наплывом каких-либо грез, воспоминаний и прошедшего миража, невольно каждый должен оттолкнуть от себя индиферентность, а влил бы свою каплю духа в общий состав, и получилось бы нечто вполне положительное...“.

В городке, где прошли мои ученические годы, перед выборами в учредительное собрание от партии народных социалистов на митингах выступал некто Шамшара. Он носил клетчатые брюки, пенснэ в роговой оправе, имел весьма возвышенный образ мыслей и речи свои начинал неизменно таким общедоступным вариантом:

— В политической ситуации сегодняшнего дня, как нонсенс, мы констатируем, что диалектическое

развитие центростремительного сознания масс, в связи с демократизацией общественных аггрегатов...

Шамшара был известен способностью безостановочно говорить столько же, сколько может тарахтеть вхолостую заряженный двадцатью литрами горючего и свободный от всякого груза мотор. Его выпускали, по причине этой словесной неумолимости, последним, и он говорил обычно до тех пор, пока в опустевшем зале старая и подслеповатая бабка-сторожиха оставалась представлять городских выборщиков в единственном числе. Бабка, подковыляв к кафедре, некоторое время слушала его, охая жалостно и крестя зевающий рот, потом она говорила деликатно, улучив удобный момент и вручая оратору связку громыхающих ключей:

— Вот вам ключики, батюшка, когда кончите, сами уж и заприте...

Партия народных социалистов, как известно, отцвела, не успевши расцвесть в утре дней Октября. Не тот мотор делает революцию, который оглушает холостым треском, но тот, который способен сдвинуть и опрокинуть груз веков. Любовь к пустой, цветистой и по возможности малопонятной фразе сохранилась у нас лишь в качестве редчайшего анахронизма предучредительных времен.

Мы далеки от мысли заподозрить зампреда в соглашательстве. Равным образом, возвышенность мыслей есть дело частное, если вышеназванный мираж не приводит человека к состоянию, вредному для окружающих. Но что, спрашивается, поймут сельсоветы в этом грезовом циркуляре, которого простейшее и безобидное содержание — об оживлении кампании жертинтервена в районе — заключено в такую фигурную и жуткую санскритскую оболочку? Не больше, во всяком случае, чем автор: и это грустно.

Известную записку Ленина об очистке русского языка и слова́ его о том, что надо говорить и писать просто, заменяя словесную трескотню делом, я видел висящими на стенке только у двух человек: у Сосновского — в Мамонтовке и у селькора Лапицкого — в Белоруссии. Оба, действительно, пишут просто и хорошо, чего совсем нельзя сказать о зампреде из Авдеевки. Бедняга, впрочем, пострадал уже, кажется, за пристрастие к Гранату: по непроверенным слухам, сначала сняли циркуляр, а потом и самого автора. Мера крайняя, но до чего же зациркулярился человек, если даже — как выяснилось — супруге хозяйственные распоряжения он пишет не иначе, как на „Ундервуде", и с теоретическими предпосылками о необходимости сохранения кухонного очага до организации общественного питания во всесоюзном масштабе.

Надо освежаться...

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Нравы

Впервые Коротовкина, служившая техничкой в одной из городских школ, имела случай констатировать лестную благосклонность районного начальства весной, когда школу посетило лицо, ведавшее народным образованием в уезде. Товарищ Пренер, заведующий УОНО, замещал в то же время председателя исполкома в Славянске: это был, так сказать, без пяти минут хозяин района.

Без пяти минут хозяин района с подчеркнутой и обворожительной любезностью сказал ей тогда, в итоге деловой беседы о комплексных пособиях в младших группах, что он страдает душевным одиночеством и всем системам на свете (как комплексным, так и пенитенциарным) безусловно предпочитает обворожительную синеву наивных семнадцатилетних глаз. При этом он так пристально впился ревизующим оком в расстегнутый воротник ее весенней косоворотки и так значительно пожимал ее руку влажными и горячими своими ладонями, что девушка смутилась и, покрасневши до слез, поспешно перевела разговор на нейтральную тему о глобусе, который погрызла, залезшая в комнату учебных пособий, рябая сторожихина свинья. Особенного значения этому случаю она, впрочем, не придала и вскоре забыла о нем, совершенно не имея в виду, что на-

чальство, как сказано у Гоголя, „имеет тонкие виды и, даром, что далеко, а все мотает себе на ус“.

Через месяц по служебным делам ее срочно вызвали в наробраз.

— А я вас не забыл! — сказал т. Пренер, придавая лицу шаловливое и лукавое выражение.— Разве можно забыть такие очаровательные ямочки на щеках?!

Она снова покраснела мучительно, как краснеют в семнадцать лет, так, что краска залила ей шею и грудь, и беспомощно заерзала в кресле. Он продолжал, вплотную подсев к ней и овладевая ее рукой, пальцы которой стали холодны и дрожали:

— Послушайте! Как люди своего века, отбросим мещанские предрассудки, тургеневские девушки теперь вышли в тираж: вы будете ходить ко мне по вторникам и субботам, а я вас не забуду по службе...

Она вырвалась молча и, заплакав, вышла в коридор. Видимо привыкшая к таким сценам сторожиха в коридоре взглянула на нее сочувственно и понимающе; сторожиха сказала, вздохнув и скорбно, по-деревенски, подперев подбородок рукой: „Не плачь, девонька, бабья доля всегда одна“.

Через несколько дней, ночью, когда, прикрутив керосиновую коптилку, раздетая, она лежала уже в постели, кто-то тихонько и осторожно с улицы постучал к ней в окно. Она не отперла, в темном силуэте под липой разглядев через стекло все то же ведавшее образованием в уезде лицо. Однакоже лицо, став на призбу и рукою, всунутой в форточку, ловко отстегнувши задвижку у окна, бесцеремонно впрыгнуло в комнату. Тогда она, едва накинув платок на трясущиеся плечи, зажгла лампу на стене, и товарищ Пренер с явным неудовольствием вынужден был констатировать присутствие третьего лица: на другой кровати лежала, по уши закутавшись

простыней, знакомая, до смерти напуганная учительница из уезда. Фыркая раздраженно, Пренер выбежал из комнаты, но в сенях, когда девушка вышла отпереть ему дверь, он стал мять ее и щипать и говорил, задыхаясь, силой усадив ее на бочку, где солились огурцы:

— Ну, все равно, хоть тут... чего ломаешься?

Она оттолкнула его с такой силой, что, упав, хозяин района разорвал себе рубаху и разбил о дверную скобу нос. Поднимаясь, он закричал визгливо и злобно:

— Ну, будешь помнить это, в двадцать четыре часа выгоню!

На утро, желая объясниться с ним, техничка пришла в наробраз. В кабинет ее на этот раз не позвали, но т. Пренер, увидев ее, ждавшую у дверей, прищурясь сказал:

— Я слышал, в отпуск собираетесь? Что ж, не смею задерживать; такие работницы мне ненужны...

Умоляюще приложив руки к груди, она начала-было говорить, но Пренер, вспомнив, видимо, о ночном своем позоре и ощутивши внезапно боль в опухшем переносьи, исступленно затопав ногами, закричал:

— Вон, вон из моего учреждения!

Она сопротивлялась, когда Пренер, бранясь, пытался столкнуть ее с лестницы, и руками схватила его за горло. На шум сбежались люди, служащие и работавшие в исполкоме печники; девушка всхлипывала молча, прикрывая платком порванное платье, и ничего не ответила на расспросы, но все было понятно само собой — и без пяти минут хозяин района почувствовал себя не слишком приятно в окружении насмешливо созерцавшей его разбитый нос толпы. Он придал, впрочем, лицу непроницаемое выражение и велел позвонить в милицию, чтобы забрали эту

хулиганку. Хулиганку и рабочих, сбежавшихся на шум, отвели в район и допросили там с предупреждением по 179 статье. Начальник милиции был крайне смущен и растерян, когда печники показали единогласно, что своими глазами видели, как с бранью тащил защищавшуюся девушку с лестницы разбушевавшийся зампред. Он позвонил на предмет дальнейших распоряжений в исполком, и товарищ Пренер, который успел уже, видимо, поостыть и одумался, сказал, что этому делу не надо давать ходу. Техничку освободили.

Оскорбленная и подавленная, ожидая с минуты на минуту обещанного „сокращения“, девушка обо всем рассказала товарищам, один из которых сообщил о скандале в округ. Но из округа письмо вернули в Славянск, и писавший, старый и добросовестный и искренно болевший за местные порядки учитель неожиданно был снят с заведывания школой, в которой работал до этого несколько лет.

Когда он пришел объясняться в наробраз, Пренер сухо пояснил:

— Спасибо еще скажите, что под суд не попали за ложный донос и дискредитирование власти! Тоже— писатель!

Учитель апеллировал к своей профессиональной организации.

Товарищ, которому профсоюз поручил расследовать этот случай, ссылался вначале на множество спешных и важных дел, потом он уехал в отпуск, а потом самое заявление учительское случайно оказалось утерянным в канцелярских дебрях профсоюзной инстанции. Когда же отпуска кончились, опять появились спешные и важнейшие и срочнейшие другие дела, — и товарищ, которому было поручено расследование, при встречах с жалобщиком стал переходить на другой тротуар.

□ □ □ □ □

На кухне

Вопрос о кухонном угле, как средстве проведения политики партии в жизнь, мы поднимаем едва ли не впервые: кухонный уголь есть категория сугубо прозаическая, и в райкомах говорят об утюгах и сковородках обычно не иначе, как об элементе мещанского обрастания и ликвидаторских настроений несознательных партийных единиц. Но все зависит, выражаясь геометрическим языком докладов о текущем моменте, от точки зрения и угла понимания. Ведь воспета же у нас гармошка, обыкновенная российская двухрядка, которою некий находчивый предвик отлучил постепенно от церкви, взбунтовал и объединил на почве общественных интересов дотоле покорную божьим законам и отчему кулаку — молодежь села! А мы и не подозревали, какое заложено в гармошке пропагандистское начало!

Говорить о сковородках и об угле в данном случае приходится, к сожалению, с иной точки зрения: ибо в кухонной истории, которая описана ниже, антрацит проявил себя с самой дурной, антипартийной стороны. Виноват, впрочем, не столько антрацит, который, напротив, имеет, как известно, пролетарское происхождение и заслуги перед революцией, сколько супруга товарища Нечаева, сталинградского партийного работника. Предоставляем слово красноармейцу,

тов. Романенко, первому поднявшему вопрос об угле перед сталинградским партийным комитетом.

„Живя в одном коридоре с секретарем ячейки тов. Нечаевым, Иваном, у нас начали происходить между моей матерью и его женой ссоры на почве наставления о морали, как жена секретаря должна себя вести. Эти ссоры начались по выходе всего дома на общую кухню, где состоялся договор, что каждый должен приносить утром по ведру угля для изготовления пищи. Но секретарша первое время выполняла, потом же начала действовать, как ей заблагородится: она будет варить, а уголь нехай Чемберлен таскает. Но, дорогие товарищи, Чемберленов в доме не проживало, а один трудовой народ...

Вошедший постепенно в быт секретарши этот уклон стал поэтому раздражать соседей, и «в один приличный денек», с общего молчаливого одобрения, старуха Романенко сдвинула секретарский чайник с плиты: любишь чаевать, моги и уголь носить! Секретарша влетела в кухню, как фурия, и насела, бия кочергой о заслонки, на старух: дескать, мещанство это, мелкобуржуазная вылазка и даже прямая контр-революция — оставили без чая супругу ответработника!

— Да вы знаете, черти беспартийные, чей вы чайник отодвинули? — кричала она, вращая угрожающе кочергой: — секретарский чайник! Это даром не пройдет, вы против партии идете!..

„...И все, испугавшись, не сказали ей ни слова, а моя мать, не утерпевши, прочитала ей гражданскую мораль, что не подобает секретарше так грубо обращаться с беспартийными и неграмотными старухами. Короче говоря, моя мать, неграмотная вдова 69 лет, хотела морально подействовать на эту даму, отчего и произошло междометие. Сперва секретарша

ругалась без угроз, а потом прискочит, например, и страшно кричит:

„— Да я тебя, старая карга, как собаку застрелю, — у меня муж партийный!

„И, высоко понимая о себе, перестала носить уголь совершенно и принципиально выкидает из печи соседский хлеб, кто бы ни пек. И невозможно что-либо ей возразить, оттого что она жалуется мужу, каковой с ужасным криком сам бежит на кухню:

„— Я вас всех в допр засажу!

„Наконец, она же подала на мою старуху об этом угле в суд, и вот немедленно летит, летит повестка явиться Марфе Романенко к следователю в 6 часов вечера. Зная, что такое положение не существует для больных старух, т.-е. необходимо вызывать в светлое время, а не вечером, я пошел к начальнику милиции объяснить и указать неправильность, но он мне сказал, что «яйца курей не учат: ты сопляк, а не красноармеец». Про всю эту катавасию я описал секретарю окружного партийного комитета и просил его, что, если существует коммунистическая этика, то как должен держать себя секретарь на кухне и разве же ВКП допускает издеваться над больными и темными старухами?“.

Но ответа от секретаря не последовало, и покоренный секретаршею дом застыл в трепете и повиновении. Никто не требует больше от нечаевской супруги, чтобы, наравне с другими, она носила уголь в кухню. Никто не осмелится больше сдвинуть партийный чайник с конфорки, но для нечаевских кастрюль опрастывают всегда молчаливо лучшее местечко на плите. Старухи стихают испуганно, едва заходит она в кухню, и шопотом говорят, прикладывая палец к губам:

— Тс-с. Эти партейные, они все могут...

Горе побежденным! Старуха Романенко не рискует уже больше, конечно, читать секретарше „гражданскую мораль“. Когда секретарша выбрасывает из печки в корыто ее недопекшийся хлеб, она уходит покорно в угол и плачет там тихонько слезами тяжкой непонятной обиды: это партейные, им все можно!

Конечно, сталинградский окружком занят делами поважнее, чем маленькая эта история покорения кухни секретарской четой. Но в мелочах отражаются часто крупицы целого, и напрасно товарищи, пренебрегши углем, не откликнулись на это красноармейское письмо. Тоже ведь и через уголь можно утверждать авторитет партии или подрывать его. Тоже и на кухне коммунист должен остаться коммунистом.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Свадьба

Каждому человеку от бога даден свой недостаток. У кого кишка слепая, у кого волосы в ухе растут, у кого пятка крива, — пустячок, знаете, а все-таки неприятность. Но товарищ Нечихай, как зав. УФО, вполне на высоте, а если рыжеват, то этого нельзя поставить человеку в упрек, оттого что рыжий цвет прочный, он не боится ни солнца ни дождика. И опять-таки у каждого, как говорится, барона своя фантазия: этот шилишперов ест в сметане, другой же, напротив, моется в бане глиной. Товарищ Нечихай, наш заведующий УФО, многих удивляет костюмом, т.-е. штанами, которые носит летом наизнанку, швом наверх; лето проносит, к зиме же вывернет лицо, и опять-таки получается новый штан, демисезон. Ну и другие есть, конечно, у человека поступки: в штате, например, у нас по УФО исключительные шатены, оттого что, говорит, каждое ведомство должно иметь собственный цвет, блондины, например, по просвещению, рыжие в инспекции, брюнеты по народному здравию, лысых же можно пустить по внешней торговле, — а иначе, говорит, выходит сплошная путаница; с другой стороны, никакой шатен у нас в штат не проводится, пока не решит задачу про черепаху и быстроногого Ахиллеса, по которой сразу видно,

уважает ли шатен цифру. Конечно, с фантазией человек, т.-е. товарищ Нечихай, но фантазия есть у каждого, и полководец Суворов даже петухом кричал, о чем известно в учебниках.

И вот, знаете, в один приличный, как говорится, день приходит в УФО гражданка Цвиб, труженица бумажных цветов, которая проживает на ямах воеводы Киселя, переименованных сейчас в Верхне-Социалистическую улицу, — с жалобой на подоходный налог. Говорит, раньше я зарабатывала, когда были цветы со значением, роза, например — любовь, незабудка — память, тюльпан — „вы мной играете“, и даже делали репеи из колючек, как упрек в коварстве; а теперь, говорит, существую я исключительно от зимних смертей, веночками за упокой, но народ пошел хитрый, норовят умереть летом; средства мои, говорит, ничтожны, и надо также принять во внимание мое положение одинокой девицы: будь бы, говорит, муж у меня, или жених, он бы не затруднился, а откуда же взять четырнадцать рублей честной девушке?

Товарищ Нечихай ее выслушал и — „аттанде!“ — говорит, что значит: выйдите отсюда, не мешайте занятому человеку. На прошении же, однако, он наложил резолюцию:

„Управделами. Срочно! Не вижу иного выхода из положения: найти ей жениха“.

Просительница, девица Цвиб, расстроилась-было — я, говорит, напротив, желаю умереть девственной, это у нас родовое. Но управдел говорит: гражданка, говорит, закон обратной силы не имеет, это все равно как судебный приговор. Придется жениться, а затем можете кассировать. За кого же, спрашивает она, мне выйти, раз такая судьба? Об этом, говорит управдел, вы будете уведомлены в законный срок.

Вскоре же находится человек, живописец различных вывесок — Иоанн Лошак, проживающий в рытвине Козицкого, или же по Нижне-Социалистической улице, который, действительно, желает вступить в брак по случаю носков. Когда была еще, знаете, уодежда, он в уодежде портреты рисовал со всех начальников и за это получил натурою удивительное множество носков. Но носочки-то оказались фальшивые, пальцы, знаете, сквозные, все равно как у кондукторов на перчатках, если кто бывал в столице.

И затосковал, знаете, человек — я, говорит, теперь как нищий миллионер из романа господина Потапенко, придется мне жениться теперь из-за этой чепухи, но только, говорит, праздной женщины я не возьму, мне такая нужна, чтобы не меньше как четыре пары надвязывала в сутки. Ну-с, искал он, искал, подходящего ничего нет: эта подслеповата, у той руки как крюки. Женитьба, знаете, это — дело серьезное, это вам не варенец съесть.

А с гражданкой Цвиб, труженицей бумажных цветов, они согласились весьма быстро. Не ради вас, говорит Лошак, но ради носков. Что же делать, она отвечает, раз теперь такое время, что каждый фининспектор может обидеть одинокую женщину: я ваша!

Они поженились, знаете, и товарищ Нечихай по докладу управдела одобрил брак, но говорит: здесь, говорит, есть побочное обстоятельство. Прикиньте, говорит, женится же человек не на неделю, — целую жизнь, значит, будет она ему пальцы довязывать, сколько же у него этих носков? Придется, говорит, выбрать им патент по признаку чулочного производства.

Получили молодые извещение и сейчас же, знаете, приходят, подают заявление: что же это, говорят, зачем же тогда женили, это брак дефицитный!

И товарищ Нечихай пишет:

„Управделами. Срочно. Не вижу иного выхода из положения: развести“.

Гражданка Цвиб расстроилась окончательно: не желаю, кричит, это позор для девушки! Но управдел говорит: гражданка, говорит, закон обратной силы не имеет. Сначала разведитесь, а потом можете кассировать...

Флюиды баронессы фон-Вихман

Мне очень стыдно за свою невежественность и несознательность, но должен признаться откровенно, что до встречи с баронессой фон-Вихман я ничего не слыхал о флюидах и не подозревал даже о самом существовании этой почтенной чудодейственной категории.

Но флюиды есть, — и баронесса, которая посетила в свое время Калькутту и Бомбей и проникла в тайны учения иогов на Памире, с полной категоричностью утверждает, что своевременным и искусным флюидным воздействием каждый гражданин может гарантировать себя от неприятного вмешательства ОГПУ и прокурора в собственные запутанные дела, излечиться от всяческих болезней, приворожить к себе ближнего и рассорить любую супружескую пару, или стать обладателем богатства, совершенно скрытого от бдительных глаз фининспектуры и отнюдь не облагаемого государственным подоходным налогом.

Несколько слов о баронессе. Ее имя промелькнуло когда-то в газетах в связи с довольно скандальным судебным процессом в Ташкенте, в 1915 г. Баронесса обвинялась в истязании собственной падчерицы, тело которой она обжигала разъедающей смесью золы и марганцевого калия. Баронессу судили и приговорили к восьми годам каторжных

работ. Но во времена Керенского ее освободили вследствие заявленного ею желания вступить в женский батальон для овладения Дарданелльским проливом и войны до победного конца.

Освобожденная, в Дарданеллы она, впрочем, не поехала, но отбыла в Ташкент, где впервые на практике применила в советское уже время познания, заимствованные у факиров в Бомбее и Калькутте, и начала гадать на картах и на бобах (числом 41), предсказывая скорый и неизбежный конец советской власти. Ее арестовали, выслали, и несколько лет она провела в концлагере в Москве.

Когда ее освободили, она поселилась в Москве, на окраине, в Бабьегородском переулке, — и отсюда начинается многополезная флюидная деятельность ее, привлекшая к себе, в конце концов, внимание учреждения, отличающегося, по единодушному утверждению белой прессы, явно повышенной любознательностью.

Домик в Бабьегородском переулке более походил, действительно, на резиденцию факира, нежели на скромное прибежище все оставивших в прошлом, когда-то сановных, но сейчас уже „бывших“ дам. Здесь стоял всегда таинственный полумрак, на окнах висели блестящие странные занавесы, ширмы и ширмочки с драконами, низенькие софы, шкатулки, ящички и вазы со стрелами были расставлены по углам; восточные ковры, цветные фонарики, множество ламп, вспыхивавших внезапно и потухавших, и две кошки, черная и рыжая, всегда восседавшие на плечах хозяйки, — все это создавало в домике атмосферу, до крайности насыщенную мистицизмом.

На карточке баронессы на входных дверях значилось, что она лечит накожные болезни, экземы. Но лечила она только во-первых, во-вторых же гадала на картах, на золе, на воде, на кольце и другими

весьма разнообразными способами, и в-третьих, за мзду, предусмотренную строгой таксой, широко распространяла флюиды, т.-е. талисманы, в каждом случае различные и обладавшие, по клятвенным ее заверениям, чудесной способностью выручать человека в любой жизненной перипетии.

Так например, был флюид денежный. Надобно взять советский бумажный рубль, собрать им пыль в собственном следе и эту пыль принести баронессе; она разрезала бумажку пополам, зашивала в нее собранную грязь и, зарядивши талисман флюидной силой, давала носить его на шнурочке в кармане. Операция производилась с полной гарантией богатства, счастливым обладателем которого должен был стать рано или поздно флюидный индивид.

Был флюид привораживающий. В этом случае баронессе надобно было принести „для обработки" кусочек, вырезанный из шапки человека, если вы хотите, чтобы он думал о вас; кусочек из подошвы его обуви, если вы хотите, чтобы он ходил к вам, — и кусочек его обязательно потной рубашки, чтобы он любил вас. Затем флюид ссоры; он состоит из клочьев шерсти собачьей и кошачьей. Посетители баронессы поэтому постоянно пытались, полагая также в ее кошках и шпице по имени Левка наличие особой флюидной силы, потаскать животных за хвост или вытащить у них по нескольку волосков; это постепенно привело кошек к состоянию перманентного бешенства, и они не подпускали к себе чужих людей ближе, чем на один флюидный аршин.

Методы же лечения вообще отличались у баронессы крайней эксцентричностью. По рецептам, записанным в книжечке ее собственной рукой, — от лихорадки, например, излечивают хлебные шарики, обернутые в паутину и в изобилии глотаемые натощак; чтобы избавиться от падучей, нужно трижды выпить

настой черного папоротника, попариться в бане и... сходить в театр.

Обычный прибор, с помощью которого гадала баронесса, состоял из свечей, золы и кольца, опущенного в сосуд с водой; по утверждению баронессы, грядущий день различим был в этом кольце столь явственно, что в 17-ом году она увидела в нем царя с провалившейся короной — „от царя одна пипочка торчала, его носик“.

Разовый флюид, сохранявший свою чудесную силу лишь на полтора месяца, шел в три целковых и выше; годовой, абонементный, стоил 72 рубля.

Клиентура баронессы была столь обширна, что попасть во флюидную комнату можно было не иначе, как прождавши в очереди 5—6 часов.

Если бы круг посетителей домика в Бабьегородском переулке ограничивался людьми отжитых времен, не о чем было бы и говорить: представителям сбитого с исторической позиции, агонизирующего класса, чтó им осталось в настоящем, кроме флюидов и хвоста мистической черной кошки?

Но — увы! — кроме семьи бывшего царского министра, кроме князей, торгующих на Трубе пирожками и борзыми щенками, кроме беженки, сносившейся с баронессой из-за границы через некую прелестницу Эстер Анагностапулос, кроме нэпманов и лавочников с Арбатского рынка, — в домик ходили еще и видные советские чиновники, советские актрисы, жены ответственных работников, даже рабочие, даже... красные командиры.

Жена крупного финансового работника Ф-х, например, лечилась сначала от экземы, затем раскрывала кражу, потом привораживала несколько легкомысленного, видимо, супруга.

Некий ответственный страховой работник закупал флюиды, вызывающие расположение начальства:

установлено, что, при входе начальствующих лиц в его кабинет, он с ногтя, щелкая пальцами, разбрасывал флюиды по воздуху...

Из Сибири жена крупного тамошнего работника-экономиста Ф. пишет баронессе, что, слава богу, родила от флюида ребенка и муж, не слишком склонный доселе к супружескому лону, вновь вернулся к домашнему очагу.

Рабочие ходили преимущественно „раскинуть на кражу" красные командиры — их было, правда, немного, — интересовались войной и вопросами служебного продвижения... Чудеса? Чертовщина? Нет, в это они не верят, конечно. Это просто интересно, как эксперимент воздействия сильной воли на окружающих людей и обстановку. И на основе этого эксперимента они тоже платили свои рубли, вшивали флюиды под сердца и ловили за хвост черную кошку у баронессы.

Так жила эта титулованная факирша и кудесница, в отклонение от всяких тарифных норм, зарабатывая в сутки по пяти, по шести червонцев на свой хлеб с маслом; ее известность росла, людской поток увеличивался с каждым новым флюидным днем, к ней стали обращаться уже из других городов и из-за границы, прелестное будущее рисовалось ей в виде многих мешков, наполненных червонцами, — когда в дело вмешался неожиданно орган, о котором сказано выше.

И флюид самой баронессы, предохраняющий учение иогов от гепеуровой ревизии, на сей раз оказался недействительным.

Случай в Тураевке

Обстоятельства дела, по данным рапорта финансового агента Колесня и материалам произведенного затем детального обследования мест и эпизодов происшествия, рисуются в следующем хронологическом порядке.

Он, финагент Колесень, осенью, на второго Лаврентия, когда каждому человеку и каждому двору определяется господом богом покровительствующая звезда на текущий хозяйственный год, прибыл на престарелом финотдельском жеребце „Одер“ в село Тураевку для вручения недоимочных налоговых карточек ряду лиц; в списке их значился, между прочим, отмеченный в качестве злостного неплательщика двумя жирными устрашающими крестами и местный поп, служитель культа, отец Афанасий Дубилло. Когда финансовый агент, имея „Одера“ в поводу, приблизился к дому отца Афанасия Дубилло, ворота и калитку здесь он нашел наглухо запертыми, и самая усадьба служителя религиозного культа казалась лишенной каких бы то ни было признаков жизни; если бы не огромный и свирепый волкодав Борзий, бесновавшийся у крыльца и угрожавший икрам и панталонам каждого, кто рискнул бы переступить порог богоспасаемой усадьбы, можно было бы счесть, что все спит в летаргии или померло в этом доме быстрой чумной смертью.

Финансовый агент Колесень тщательно и долго звал попа по имени и по фамилии и стучал, чертыхаясь, кулаками и ладонями в щеколду, пока не отбил себе вспухшие, покрасневшие руки. Затем он пытался, став на „Одера“, перемахнуть через забор или же пролезть в подворотню, но „Одер“, преисполненный обычно полнейшего и флегматичного равнодушия к окружающей действительности, с необычайной резвостью топтался, как на зло, перебирая разбитыми ногами, на месте и никак не давал спины, а забор был высок и обтянут колючей проволокой; в подворотне же, едва Колесень просунул туда нос, он увидел налившиеся кровью глаза и оскаленные, щелкающие зубы волкодава. Убедившись, что в усадьбу проникнуть ему не удастся, финагент, в состоянии крайнего раздражения, отбыл на „Одере“ в сельсовет; было невозможно ради одного попа приезжать сюда за 36 верст вторично, и он решил оставить попову карточку в сельсовете для передачи. Однако, в совещании с комсомольцем, секретарем сельсовета, сразу же выяснилось, что ни чума ни летаргия и никакое иное несчастье не постигли здравствующий и вполне благополучный поповский дом, но божий иерей избрал эту методу закрытых дверей в качестве меры предупреждения и охраны от вторжения различных представителей грешного мира в его дом. Припираясь таким образом, он уклонялся обычно с неизменным успехом от всех неприятных встреч и разговоров и однажды блестяще выдержал трехдневную осаду милиционера, привезшего судебную повестку по сутяжному делу о корыстном дележе наружной церковной кружки с соседним дьячком.

Положение таким образом осложнялось, и секретарь категорически отказался на свой риск принять для вручения проклятую карточку; предприятие это,

по его словам, было безнадежно и могло увенчаться успехом лишь в случае полной мобилизации личного состава совета для осады попова жилья днем и ночью, — но сделать это, в виду текущей работы, было невозможно. Секретарь охотно принял, однако, приглашение участвовать в тех аггрессивных мерах и действиях, какие финагент, увлекаясь постепенно мыслью о единоборстве, возможной победе и иерейском посрамлении, решил предпринять.

Вдвоем они направились к иерейской усадьбе и, вновь познав тщету получасового оглушительного стука в ворота, пытались извлечь попа из дома различными провокационными способами; они во всеуслышание называли иерея Афонькой, рыжим чортом и яйцекрадом, ибо общеизвестна была его привычка шарить в усадьбах, во время домашних треб, по куриным гнездам; затем они открыли антирелигиозный диспут, отзывались крайне неуважительно о пастырях церкви и высказывали различные нескромные и интимные предположения о способе и месте выхода Ионы из чрева кита; наконец, вызванный срочно, в качестве резервной единицы, братишка секретаря Лешка залез на попову вишню, росшую у забора, и, захлебываясь в наплыве неожиданного счастья, беззастенчиво стал обирать с дерева сочные и мясистые плоды. Но поп не поддавался и упорно хранил молчание.

Мнения о дальнейших возможных мерах разделились. Секретарь сельсовета предлагал в пылу разгоряченной фантазии ударить в набат, или рыть к дому подкоп, или же проникнуть в него через трубу. Но фининспектор настаивал на тактике выжидания, полагая, что человеку невозможно безвыходно просидеть в доме более суток и что поп, рано или поздно, вынужден будет покинуть свое убежище для прогулки в досчатое, скромно прию-

тившееся в углу садика строение. Они решили ждать и, разведя у забора костерчик, где жарили на вертелах принесенное секретарем сало, провели в этой настойчивой осаде остаток дня и длинную, осеннюю, бессонную ночь. К утру, когда поп все еще не проявлял никаких признаков жизни, в их головах созрел план не столько смелый, сколь эксцентричный.

Лешка, на рысях промчавшись домой, принес оттуда шило, воск и суровые нитки. Финагент и секретарь различными и весьма искусными маневрами увлекли Борзого за клуню, в дальний конец усадьбы; они мяукали по-кошачьи, приседали и хрюкали, стучали о забор палками и кидали в собаку мелкие камешки. Когда взбешенное животное, шаг за шагом преследуя их вдоль забора, скрылось за клуней, Лешка быстро влез на вишню, спрыгнул и, неслышно подкравшись к дому, укрепил в оконной раме, в замазке, шило, от которого шла к забору длинная и прочная навощенная нитка; карточку же вставили в расщепину восьмиаршинного шеста, каким обычно снимают с деревьев фрукты. Когда агент и секретарь, присевши за забором, осторожно начали смыкать скрипевшую под пальцами нитку, снаружи послышалось только легкое дребезжание сотрясаемого стекла; но это был прием, испытанный годами, и они знали, что внутри дома стоит адский шум и треск, точно в окно полными пригоршнями бросают сухой горох или стучат о стекло одновременно десятками твердых костлявых пальцев. Этот шум нестерпимо раздражал, от него звенело в ушах и мгновенно начинала пухнуть и болеть голова.

Не прошло, действительно, за этим занятием и пяти минут, как окно стремительно распахнулось и в нем показался поп, вооруженный огромной и суковатой палкой; он был разъярен, рыжая борода его

стояла дыбом, и выкатившиеся глаза метали молнии; в резерве виднелась матушка с ухватом в руках и чада, занявшие позиции на столах и на комодах. Поп перегнулся на подоконнике, занесши палицу горе́ и рассчитывая увидеть врага под окошком, внизу; но в этот момент секретарь стремительно двинул шест и концом его, в расщепине которого укреплена была карточка, въехал в окошко.

— Вручена, вручена! — закричал торжествующе финансовый агент и, не удержавшись, через забор показал попу кукиш.

Поп в окошке, грозясь палкой и кулаками, изрыгал различные скверные слова.

...Обо всем происшедшем финагент рапортом довел до сведения финотдела и просил дни, проведенные в осаде иерейского жилья, засчитать ему как командировочные, с выдачей суточного вознаграждения. Заведующий УФО начертал на рапорте — „приятно отметить настойчивость данного сотрудника",—но в выдаче суточных отказал, сославшись на то, что это обстоятельство не предусмотрено сметными ассигнованиями.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЦЕНА 1 Р. 25 К.

ТОРГСЕКТОР ИЗД-ВА „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД: ПРОСПЕКТ 25 ОКТ.,
ДОМ № 52. ТЕЛЕФОН 217-79, 217-78
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
ЛУБЯНСК. ПАСС., 48—49. Т. 2-24-09.
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ,
ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ,
НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ И В
УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ